

З. ФАЗИН

ЗА ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ЛЮБВИ



~~SECRET~~

О тех
О муз
Кто в
О тех
Кто с
И без



**О тех, кто первым ступил на неизведанные земли,
О мужественных людях-революционерах,
Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.
О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,
Кто с детства был настойчивым в стремленьях
И беззаветно к цели шел своей.**

**МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1977**

ЯКОВ ПОТАПОВ

З. ФАЗИН

ЗА ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ЛЮБВИ

■ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ ■

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

■ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ ■

Фазин З. И.

Ф16 За великое дело любви. (Яков Потапов.) Ист. повесть. М., «Молодая гвардия», 1977.

176 с. с ил. (Пионер — значит первый.)

Повесть о героическом подвиге и мужественной жизни питерского рабочего Якова Потапова, который стал первым знаменосцем русской революции. На революционной демонстрации в Петербурге в декабре 1876 года тогда еще совсем юный Потапов поднял красный стяг. Материал, на котором построена повесть, мало освещен в художественно-документальной литературе.

9(С)16

70803—128
Ф 078(02)—77 099—77



Глава первая ОТКРЫТИЕ ЯШИ ПОТАПОВА

1

Необычайное событие поразило Санкт-Петербург в тот давний студёный декабрьский день. Но для Яши Потапова все началось, пожалуй, ещё накануне ночью.

Скажите: мысль, вдруг крепко захватившая вас, тоже есть событие? У Яши Потапова не было сомнений на этот счёт. Он, сколько себя помнил, с самых ранних лет склонен был к раздумью и все старался сам уяснить себе и понять: откуда, например, пошла русская земля и как стала быть; отчего в небе и в природе все так удивительно разумно устроено, а люди никак не устроят свою жизнь на земле, все терпят, а со злом и несправедливостью никак не покончат.

А важно было Яше все это постигнуть особенно потому, что все свое образование он получил от чтения при лучине или коптилке, иной возможности не было у крестьянского парнишки. Вот почему каждая новая мысль и найденное решение трудной задачи были для Яши не меньшим событием, чем для путешественника — открытие неведомого досель материка или для астронома — обнаружение ещё никому не известной кометы.

В ночь накануне того самого студеного дня, с которого все началось, ярко светила луна и в ветхом маленьком домике на окраинной улочке Петербурга, где ночевал Яша, тихо потрескивали стены от мороза, — звук, хорошо знакомый каждому, кто родился и вырос в бревенчатой избе и не одну зиму провел в ней. Вот под это тихое потрескивание Яша то ненадолго задремлет на тюфячке, постеленном прямо на полу, то вскинется, поглядит в окошко на белоснежное сверкание зимней ночи и снова вернется к засевшей в мозгу мысли: может ли человек оказаться сильнее своего времени?

В самом деле, может ли? А время трудное, тяжелое.

Задумался Яша еще с вечера под влиянием шумного разговора за перегородкой, в соседней комнате. Не затихали там голоса и сейчас.

В домике помещалась сапожная артель, и жили в ней коммуной пятеро студентов из тех, кого в народе называли «сицилистами». Артелями и «коммунным» жильем увлекалось немало подобных им молодых людей обоюбого пола. И ничего особенного не было в том, что среди спорящих голосов за стенкой слышались и голоса двух девушек — Яша знал их, как и остальных троих мужчин; забредал Яша сюда, в артель, нередко и, случалось, тут и заночует. Эти спорщики собирались поутру отправиться на Казанскую площадь, где предстояло большое и важное дело, и лучше поспали бы, неугомонные.

Одна из девушек не то шутя, не то всерьез предлагала:

— Господа! Выйдем все завтра во фригийских колпаках, согласны? Красный колпак на Казанской площади, на виду городских и назло всей императорской власти, каково, а? Берусь пошить к утру всем нам эти колпаки.

Девушке отвечает густой, но еще не окрепший ломкий бас:

— Полно шутить, сударушка, не во Франции мы, а сами знаете где! В некотором царстве, в некотором государстве, где фельдфебели в Вольтерах ходят, а один из них даже на троне сидит.

— Позвольте! — подхватил другой мужской голос. — А который уж год он у нас царствует? Стоп, господа! Да, славной музой Клио так и будет записано на скрижалях истории: на двадцать первом году восседания на троне его величества государя императора всероссийского Александра Второго, а точнее: 6 декабря 1876 года со рождества Христова в день зимнего Николы на Казанской площади великой столицы земли русской Санкт-Петербурга произошло...

— Что там произойдет, еще поглядим, господа. Оставим эти шутки, право, не до них! Кому еще чаю налить, самовар остывает!

Были не одни только шутки, разговор за стенкой шел и о серьезном; и хотя Яша не знал еще, кто такая муза Клио и что означают скрижали, кто Вольтер и почему красные колпаки называются фригийскими, он все же многое понимал. Услышав о чем-то новом, потом старался разобраться сам и только в крайнем случае спрашивал у взрослых. Докопаться хотелось своим умом; чужой своего не заменит.

Для своих юных лет он мог считаться достаточно толковым и уже немало знающим о жизни.

Знал — есть столица Петербург и есть Тмутаракань, есть дворцы и есть хижины, есть богатство, и есть такая нищета, не приведи господь. И хотя Яша мог убедиться: все это вместе увидишь в Петербурге — как свет и тьма, так и здесь одно без другого не существует, а все равно любил «Петра творенье». Сам-то вырос в деревенской глуши, а вот нравилась ему каменная

прочность и живость городской жизни, хотя и хлебнул здесь немало лиха с того дня, когда его впервые оглушил грохот ткацких машин и втянула в себя и стала изматывать молодые силы подневольная фабричная маета.

От домика, где Яша сейчас находился, было рукой подать до текстильной фабрики заморского господина Торнтона, где сотни рабочих ткали добротные сукна, а сами жили впроголодь. С них, как и с Яши, там на каждом шагу драли штраф, а с Яши, кстати сказать, драли особенно — за строптивый характер, хотя работал он старательно и слыл искусным умельцем, за что бы ни брался.

И вот что важно: Яша был рабочим в первом поколении; до него в семье Потаповых, недавно только освобожденных от крепостного ига, не было фабричных: испокон веку в этой семье крестьянствовали, у земли жили. А он уже знал, что такое механика, станок, машина, трансмиссия, проходная будка, табель.

И этим знанием, к слову сказать, очень гордился перед односельчанами, когда наезжал в родные места. А к Яше там относились разно: одни завидовали, другие считали его непутевым; особенно недоволен был отец, слыша Яшины рассуждения про несправедливые дела высшей власти и поправленные свободы народа.

— Эка, натаскали тебя там, в Питере! А деды наши говорили — не будь грамотен, будь памятен. Нынче много грамотных, да мало сытых!

— Жизнь надо перепахать, вот и будут все сыты!

— Ишь ты! Жизнь? Я те, пострел, дам за такие кривотолки!

Это с таких-то пор всяким вольнодумством голову себе забивать! Отец сгреб бы сына за штаны да выпорол бы докрасна, но в голубых глазах у паренька зажи-

галось нечто такое в ответ на угрозу насилия, что отец не смел дотрагиваться до него ни рукой, ни ремнем, оставшимся от солдатской службы.

Как раз недавно Яша снова побывал дома, в своей деревне, но смешно сказать: побывал! Очутился он там не по своей воле.

Трудясь на ткацкой фабрике, он стал помогать питерским революционерам и мало-помалу так втянулся, что и сам уже не мог обходиться без встреч и общения с ними, а те скоро увидели — парнишка надежный и можно ему поручать даже серьезные дела. И вот нынешним летом Яше поручили отвезти тайные брошюры и прокламации в Киев. Он выпросил отпуск на фабрике и отвез.

Пока киевляне снаряжали Яшу в обратный путь, его арестовали на квартире одного местного подпольщика и под конвоем отправили в родную деревню на жительство к отцу-матери. История неприятная, но поручение Яша выполнил и заодно повидал Киев — мать городов русских, в знаменитой Печерской лавре побывал, в золотистых водах Днепра искупался, живые каштановые деревья на улицах видел, а что он под арест попал и седоватый жандарм в голубом мундире ему допрос устраивал и что потом его по родной деревне под конвоем, как арестанта, водили до порога родительской избы, то на все будь готов, раз взялся по доброй охоте помогать революционерам. И Яша знал, на что шел. Могло быть и похуже, и очутился бы он за решеткой, как многие другие!

И сейчас, вспоминая это, Яша морщит лоб от мысли: ведь вот же, вся злоба самодержавной власти направлена против свободолюбивых людей, а они не боятся, идут на все жертвы; значит, можно же быть сильнее своего трудного времени, коли это нужно!

И тогда ничего не страшно, правда? Спрашивает Яша у самого себя и сам себе отвечает твердо: все

можно вытерпеть, ежели до конца стоять на своем. Не легко это. Яша и здесь отдает себе полный отчет. Крепись не крепись, а бывает страшно, а страх ой как подвести может.

Опять треск слышен в сенях, и кажется, то мороз ломится в дом, и в стоне ветра за окном Яша улавливает жалобу на холод и бесприютность обезлюдевших на ночь улиц, заваленных сугробами. Много снега выпало, и так рано, декабрь только начался.

А каково сейчас там, в родной Казнаковке? Снега, наверное, по самые крыши. Топят, конечно. Да что толку-то?

Как бесприютно чувствовал себя Яша в родительском доме, когда наезжал туда; особенно в этот раз все показалось убогим до невозможности; избенка, где он родился и жил до того, как податься в Питер на заработки, походила на замшелый трухлявый пенек; горько было смотреть на рано состарившихся от лишений и горестей отца и мать, и даже вид отощавшей Жучки наводил уныние. Но главным было ощущение какой-то потерянности: он и здесь как отрезанный ломоть и в Питере еще не дома.

В деревне он в этот раз с особенной силой ощутил, как затоптаны люди нуждой и ни о чем, кроме куса хлеба, не думают, и еще больнее было видеть, как разобщены здесь люди: каждый затерян в своем мирке повседневных забот — это ли достойно человека на земле?..

Не прожив дома и двух недель, Яша снова подался в Петербург, сюда его влекло все усиливающееся чувство сопричастности к чему-то большому, такому, ради чего только и стоит жить. Что-то поистине захватывающее было в том, чем начинала жить подпольная Россия.

И разумеется, когда вчера Яше под секретом сказа-



ли: утром завтра его ждет новое поручение, он, узнав, в чем оно будет состоять, без долгих раздумий согласился.

2

Да, не одни лишь разговоры, услышанные Яшей в эту ночь и до нее, наталкивали его на мысль о силе человека и силе времени: к ней, мысли этой, вела Яшу и его собственная жизнь.

И вот, лежа и прислушиваясь к спорам за стенкой, Яша в эту ночь совершил открытие, которое с большой точностью определяло его место в жизни.

Среди спорящих за перегородкой выделялся знакомый девичий голос: низкий, грудной, чуть даже с хрипотцой, он казался Яше, однако, трогательно-нежным. И толкнули Яшу к открытию слова именно этой девушки:

— Бывает, когда надо оказаться сильнее времени! Сказал же наш поэт Некрасов: «Есть времена, есть целые века, в которые нет ничего желанней, прекраснее — тернового венка».

— Но это не совсем то, — заспорил один из мужчин. — Терновый венок — это покорство к страданиям. А не довольно ли страдать нам всем и милой Россиишке?

Ему возразил тот же девичий голос:

— Ничто в жизни не дается без борьбы, а вы, милостивый государь, кажется, и есть тот «рыцарь на час», о котором писал Некрасов... Нет, сударь, сильнее времени, скажу я, может быть лишь одно: святая готовность идти на все, не зная страха и жалости даже к самому себе. Как Чернышевский наш! Пошел на каторгу и сидит уже который год в Сибири. Великий ум заточен!

— Хватит, хватит, господа, горячиться пока нечего. Оставим порох для завтрашнего дня.

Яша знал: завтра на площади у Казанского собора предстояла демонстрация, питерские революционеры уже давно готовили ее. Собраться решили в соборе, под видом верующих. А когда все свои подойдут, то и провести на площади возле собора демонстрацию с речами в честь Чернышевского и других поборников свободы. А повод — день зимнего Николы, ведь Чернышевского-то и зовут Николаем.

— Говорят, и рабочие будут, — слышен тот же бас за стеной.

— Должны быть, их вожаки сами вызвались.

— А вы не находите, господа: тут есть что-то новое. Русский народ — это народ-земледелец, и в сельской общине основа основ его жизни. И вдруг на авансцену начинают выступать рабочие!..

— Ну и что! Многие сейчас готовы считать — вся надежда на них. У нас растет промышленность, Петербург уже весь в кольце заводов и фабрик, и рабочих становится все больше.

— А знаете, братцы? При Петре мы по выпуску металла опережали даже Англию. А потом уж надолго и безнадежно отстали.

И, словно помогая Яше понять, почему отстали, за стенкой пошел разговор, как сильно тормозилось развитие России из-за крепостнических оков и царского самодержавия. Особенно хорошо, на взгляд Яши, говорила в защиту рабочих та девушка, голос которой ему так нравился. К сожалению, ее часто перебивали.

— Но не в рабочих же наше спасение! Конечно, чего хочется, тому веришь.

Девушка — ее звали Юлией — с горячностью возразила:

— Да, чего хочется, тому веришь. Вот мне и хочется, чтобы мы больше не отставали и чтобы нам не было стыдно за то, что произошло в Париже на Всемирной выставке лет десять назад. Знаете, чем там

была представлена наша Россиюшка в числе прочего? Громадной пирамидой из лаптей, рогож, лыка, мочальных веревок, лубков и других подобных экспонатов. Нет, хватит с нас этого, хватит!

— И оттого вы пошли к рабочим?

— Да. И горжусь, что завтра мы будем с ними вместе! Впервые!

Пока Яша лежал и думал о своем, обитатели сапожной артели — молодые студенты продолжали чаевать и спорить, а было уже далеко за полночь.

Много и горячо спорили тогда на Руси — это стоило бы здесь отметить, чтобы лучше понять то время, дни юности Яши Потапова. Свободолюбие было в натуре людей, подобных этим студентам, и позже о них скажут: это было не так просто, как могло иному показаться; прочла-де молодежь одну-другую «крамольную» книжку, наслушалась призывов своих духовных вождей и пошла в народ. «То была, — скажут о них, — подлинная драма растущей души, то были муки рождения больших дум и тревожных запросов сердца».

Немало наслышался Яша споров и на фабрике своей. «Пролетариатство» — так называли рабочих заводов и фабрик — бунтовало, все настойчивей заявляло свои права. Это слово «пролетариатство» домосилось порой до Яши и сейчас из-за перегородки. Он знал — фабричных рабочих власти продолжали считать крестьянами, и в паспортах так и значилось: крестьянин.

— У нас такого сословия нет, — говорил с важностью ломкий бас за перегородкой, но временами он пускал «петуха», и девушки весело прыскали со смеху. — Да чего заливаются, сударыни, факт же: есть у нас дворяне, купечество, мещане, и есть оно — крестьянство наше многострадальное, а рабочего сословия пока еще нет!..

«А почему нет? — задается вопросом Яша. — Мы же есть!..»

В комнате, где он лежит, полутьма; в углу — заляпанный сапожный верстак, по стенам на полках чернеют чиненные сапоги, башмаки, ботфорты, туфельки; видны и валенки и даже лапти. Остро пахнет мучным клеем, который Яша умеет хорошо заваривать; умеет он и немного сапожничать, сам чинит свои сапоги, умеет и в простых часах-ходиках разбираться; немного знает толк и в переплетном деле. Может и столярничать: табуретку сколотить, полочку, шкафчик.

И сейчас Яша подумал: а что, если рабочие начинают выступать на эту, как ее, авансцену? Рабочий человек все умеет, сумеет и свободу добыть и отстоять свое. А может и вовсе мир удивить.

Прознал как-то Яша, что в памяти питерцев до сих пор хранится случай: бурей повредило однажды высоченный шпиль Петропавловской крепости. И простой рабочий-верхолаз по имени Петр Телушкин при помощи веревок смело поднялся на самую верхушку острого шпиля (одолеl больше сотни аршин высоты) и починил его.

И есть у Яши своя большая мечта. Совершить такой же подвиг, он верит, что тоже сумел бы, как тот верхолаз Петр!

— Это мы. Мы — пролетариатство! — хочет крикнуть Яша спорящим там за стенкой и от азарта даже легонько постукивает себя в грудь. — Петр Телушкин да все мы, стало быть, сколько ни есть!..

В самом деле, почему его причисляют к сословию крестьян? В Киеве, когда его там допрашивал жандарм, в протокол записали: крестьянин. А какой он крестьянин? Давно не ходит за скотом, как прежде, не пашет, не сеет, как отец, — он ткач. Он рабочий! Целых четыре года простаивал у ткацкого станка по 12 часов в сутки! Он рабочий, один из многих тысяч фабричных, и спасибо большое Юлии (в артели все зовут ее еще Юлей, Юленькой), спасибо ей за добрые слова о рабочих.

Тут словно что-то подбросило Яшу.

Он вскочил; козушок, каким укрывался, накинул на худенькие плечи. Выбрался на ощупь в кухоньку, достал спички и скоро уже сидел у зажженной свечи.

Писать он умел, хотя и коряво, и сейчас выводил буквы на четвертушке бумаги так старательно, как никогда еще прежде.

«В Тверскую губернию, на почтовую станцию Старицкого уезда, в деревню Казнаково, родителям моим Потаповым.

Родные, шлю низкий поклон и привет из знатного Питера с пожеланиями всем вам добра и счастья, а мне такового уже не видать. Покуда дойдет это письмо, наверное, я уже буду неведомо где, может, и вовсе за решеткой. Не стану описывать, почему да как, но ввиду насилия и ужаса нашей жизни под тяжким царским гнетом я готов умереть за народ и прошу, в случае чего обо мне не думайте. Не держите той мысли, что коли я пострадаю, то за себя, нет, я желаю видеть Россию вольной, и коли даже погибну, то не по вздорному какому-то неразумию и не из-за кривотолков, как отец считает, а потому, что рабочий человек должен твердо стоять за всех, за весь народ, и не дрейфить ни перед чем. А я рабочий и есть.

Прощайте, дорогие. Ваш сын Яков».

Его била дрожь, но скорее от волнения, чем от холода. Клочковатые волосы цвета мочала сбились на лоб и глаза. Верхние пуговицы косоворотки он расстегнул, так легче писалось и думалось. И, выводя свои строчки, Яша улыбался. Словно бы не прощальное письмо писал, а сочинял что-то озорное: мол, знай наших.

Кто готовится противостоять ударам судьбы, может потом и скиснуть. А скрепляя письмо собственноручной подписью, Яша как бы давал твердое слово о бесповоротной готовности все выдержать.

Немного еще подумав над письмом, Яша в конце,

рядом со своим именем, поставил: «Сермяга». Такое у него было прозвище в детстве; так называли его и на фабрике Торнтона, так иногда в шутку называли его и в революционной среде. Он и в Киев ездил с паролем Сермяга...

3

Под подушкой у Яши лежала тоненькая книжка стихов Некрасова. Он сунул между страницами письмо и, успокоенный, снова улегся на жесткий тюфячок. И показалось Яше, не прошло и часа, как его разбудили.

Что такое? Уже день? Да, за окошком давно рассвело!

— С добрым утром, — сказали Яше, — вставай, подымайся, милоч!

Возле Яши стояли студенты-артельщики, хозяева мастерской. Их было пятеро — две девушки и трое мужчин. Яша вскочил, очумело зачесал голову, на пальцах обеих рук и даже на бледноватом лице у него были пятна чернил. Каким-то образом и край уха слева оказался в чернилах. Хозяева мастерской посмеялись, да и сам Яша виновато хмыкнул: экое дело! Писал, да вымазался!

— А что ты писал, Яша?

Он не скрыл: показал письмо, но о чем оно, не сказал. Юлия и не спрашивала — повела Яшу на кухню, там был приготовлен для него завтрак: кружка молока и хлеб.

— Но сперва умойся, — сказала девушка ласково, — дай помогу чернила смыть.

Милая какая, хорошенькая. У нее была золотистая коса на макушке; в отличие от других девушек своего круга она волосы не подстригала. Яша, правду сказать, был влюблен в эту косу. И странно было видеть на этой хрупкой молодой женщине серые стоптанные валенки и короткий вытертый полушубок, только у Яши полу-

шубок из простой уже свалявшейся овчины, а у нее — из беличьего меха.

А ведь знал Яша — она из образованных, дочь генерала, убежала из дому и, учась на медицинских курсах, одновременно работает здесь, в сапожной артели. И уж не первый раз Яша слышал от нее добрые отзывы о рабочих. По этому поводу другие члены артели нередко схватывались с ней. Будущая Россия мыслилась ими только как страна крестьянская, а Юлия убежденно доказывала, что Россию ждет иной путь.

Приносила мудреные книжки, читала вслух, иногда совсем даже не по-русски. Это она достала для Яши книжку стихов Некрасова. Яша читал их и перечитывал и подолгу задумывался над каждой страницей.

— Ты со мной поедешь, Яшенька, — сказала ему Юлия, — и не торопись, поешь хорошенько. Нам большое дело предстоит, а тебе особенно.

Смуглый румянец горел на щеках девушки, и Яша подумал: сколько должно быть ей лет? Вряд ли минуло двадцать, а уже считается опытной революционеркой, успела даже просидеть около года в тюрьме за свои убеждения. Среди студентов артели она слыла крайне яркой социалисткой, под арест попала за распространение пропаганды среди рабочих, и по запрету полиции ее теперь не пускали на заводы и фабрики Петербурга: вот и пришлось ей приютиться в сапожной артели. Юлия так любезна сердцу Яши, что он, чуть не с малых лет не знавший настоящей человеческой теплоты и ласки, назвал бы девушку сестрой, если бы не был так непреодолимо робок.

Она Юлия... Юлия... Ласковое имя какое, кажется Яше.

Пока она и Яша сидят на кухне, в сапожной комнате возникает шум. Экий беспокойный народ! Снова какой-то спор? Скоро выясняется: один из мужчин, тот самый, у которого ломкий бас, бесцеремонно взял из

сборника стихов Некрасова письмо Яши и прочел вслух, а находившаяся там вторая девушка запротестовала. Услышав ее возмущенный голос, бросается на поддержку ей из кухни и Юлия. И тоже вступает в спор:

— Вы не имеете права читать чужие письма! Это бестактно и некрасиво, наконец!

— Он конспирации не знает, а вы его защищаете! — наставительно говорит бесцеремонный. — А ежели его сцапают, тогда что? Он же все выдал, начисто себя раскрыл! Не письмо, а прямая улика!

— Все равно никому не дано права чужие письма без разрешения читать! — возражают в один голос девушки. — Это неэтично, в конце концов!

— Ну, знаете! Выходит, по-вашему, каждый из нас должен из простой обывательской честности раскрывать себя настежь! Нет, сударыни. В первую очередь надо считаться с обстоятельствами!

Стоит Яша растерянный, притихший и не знает, что делать. «Ну, помирились бы,» — умоляюще, с повлажневшими глазами, но не вслух, а сердцем и взглядом говорил сейчас Яша рассорившимся из-за него молодым людям.

— Ну, пожалуйста! Ну, порву письмо, и все!

И, недолго думая, изорвал письмо на клочки. Метнулся на кухню, чтобы и клочки эти уничтожить, сжечь в печурке. Решительный поступок Яши сразу охладил и образумил спорщиков; приумолк и сам виновник спора — длинноносый студент и, надев серый башлык поверх фуражки, сказал примирительно:

— Господа! Мы не должны упускать из виду то дело, которое нам предстоит. Ведь могут быть аресты, обыски, и надо быть осторожными!.. Рубикон перейден, уважаемые! Пора на площадь.

И шагнул к выходу.

— Идите, идите, в добрый час! — сказала Юлия. — Мы с Яшей найдем вас там, у собора.



Глава вторая
ТАКОГО ЕЩЕ НИКТО НЕ ВИДЕЛ

1

Когда за ушедшими артельщиками захлопнулась дверь, Юлия полезла в погреб при кухне — без свечи и даже без спичек. Скоро поднялась, и Яша помог ей очиститься от пыли. Девушка что-то прятала на груди под шубкой; постороннему незаметно, а Яше сразу бросилось в глаза, и он с радостным волнением подумал:

«Знамя взяла! Ну, знать, будет дело, только держись!»

Юлия ушла в комнату, где обычно отдельно от мужчин ночевали девушки, и вернулась с черным башлыком, который, однако, не надела на себя и Яше тоже не предложила. Но у Яши шапка теплая, собачья, хоть и рваная, а у нее легкая бархатная шляпка.

— Ну, пошли благословясь. Поехали!

Они и впрямь поехали, да еще не на извозчике, а в темно-зеленой закрытой карете на железных полозьях, эти кареты назывались «щাপовскими», по имени братьев Щаповых, содержателей общественных экипажей; проезд в них стоил не так дорого. На улице давно был день, но по случаю праздника зимнего Николы город

выглядел еще малолюдным. Здоровенные дворники с бляхами на белых фартуках чистили панели от выпавшего ночью легкого снежка. Через оконце в карете Яша с недобрým чувством поглядывал на краснорожих дворников и их медные бляхи. В его глазах страшнее врага, чем эти дворники, не было. Злы, как черти, не дадут приюта бездомному человеку, ни за что изобьют и выгонят; а чуть что-нибудь крамольное, по их понятиям, услышат, тотчас побегут к квартальному и донесут.

Между тем щাপовская карета все ближе подкатывала к тому месту, где предстояли события, и волнение в душе Яши нарастало, и сердце екало, как он ни храбрился. Под скрипенье полозьев кареты ему — чудно — явственно слышался голос:

Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай...

Ага! Ну, Яша-то знает, чей голос, и все же бросает взгляд на Юлию, не она ли эти стихи произнесла? Нет, сидит молча, о чем-то своем думает. Все ясно, впрочем. Вот опять тот же голос:

Рать поднимается
Неисчислимая.
Сила в ней скажется
Несокрушимая.

Казалось, ожили сами стихи Некрасова, напоминают Яше, чтобы он чувствовал себя крепче. Сборник этих стихов торчит у него под кожушкой за поясом брюк. Яша прихватил книжку с собой, не зная заранее, где доведется ночевать. Это была не первая книжка в его жизни, но Некрасова он особенно читал.

Когда карета выезжала на Невский, Юлия произнесла задумчиво:

— Да, Рубикон перейден. Ну что ж!

Эх, самое время было спросить у нее, такой образованной и великодушной, что же это такое значит: «Рубикон перейден»? И заодно уж задать и другие, запавшие в душу вопросы, — про музу Клио и про Вольтера, которого вчера ночью упомянул студент с ломким баском.

Но щাপовская карета уже неслась по широкому Невскому проспекту, и скоро должна была показаться многоколонная громада Казанского собора.

У Аничкова моста на Невском Юлия велела кучеру остановить карету, расплатилась и пошла дальше с Яшей пешком.

2

Казанский собор внушал к себе уважение уже одним только величественным видом массивного купола и рождал у Яши мысль: это ж надо суметь такое построить! По фасаду — строй мощных колонн, и в обе стороны, словно два крыла, еще ряды таких же колонн, и стоят они в небольшом отдалении друг от друга, точно исполнины, и все из темного мрамора. И ведут к собору широкие мраморные лестницы, тоже темные и мощные. Поди навези столько каменных глыб! Столько гранита, кирпича и мрамора! Да сложи это все, отработай и отполируй до блеска — загляденье. И гордость берет, что люди такое умеют!

Обширная площадь перед собором была пустынна и своей унылостью и неприглядным видом истоптанного снега казалась чужеродной великолепию собора. Ворона, галки по снегу ходили, кое-где валялся навоз, и возле него прыгали воробьи.

Издали видно было: внутри собора горят огни, там еще шло молебствие по случаю Николина дня — церковного праздника, который почитался особенным, прежнего царя звали тоже Николаем, и оттого этот день даже называли царским.

А в пропахших табаком трактирах на Невском и прилегающих к площади улицах сидели за дощатыми столиками и дожидались начала демонстрации рабочие и студенты, которым не полагалось до поры до времени показываться вблизи храма. Все состоится после молебствия — так было условлено на тайных сходках заранее.

Был понедельник, но по случаю праздника день нерабочий, и появление некоторого числа заводских и фабричных в трактирах и чайных на Невском, вблизи собора, не вызывало пока подозрения у стражей порядка, а их тут вертелось немало.

Сидел ли там кто из своих, торнтоновских, Яша не увидел, ему было велено стоять на паперти и ждать.

— Будь начеку, — сказала Юлия. — В разговоры ни с кем не вступай. А я внутрь зайду.

В рваном и грязноватом нагольном полушубке Яшу не пустили бы в собор.

Забирал морозец. На паперти ветер ощущался сильнее, жег щеки, но от него легко было укрыться за любой колонной. И какие же они вблизи огромные, высоченные!

«Сила!» — с уважительным чувством думал Яша.

Опасность он ясно видел. Поодаль, на Невском проспекте, и кое-где по сторонам площади, возле стоянок барских экипажей, щاپовских карет и извозчиков, бросались в глаза черные шинели городских с желтыми шнурами от плеча к груди и свистками на цепочках.

Из храма доносилось пение, и Яша не утерпел, заглянул в двери. От свеч несло медовым запахом, пение трогало за душу. Раз, сняв шапку, даже вошел внутрь. Молящихся было не так много, но какое богатство, какое прямо-таки сказочное разноцветье бросалось в глаза. Сколько золотых красок, блеска! Такого роскошества в церкви Яша еще в жизни не видал. Собор изнутри походил на большой дворцовый зал.

— А ну-ка марш отсюда, оголец! — услышал он и

одновременно ощутил, как его схватили за ухо; оказалось, Яшу заметил церковный староста и тут же вывел вон на паперть. Досаду свою Яша выразил в попытке потолкать колонну, возле которой стоял. Махину такую не сдвинет и рота солдат, это Яша понимал, но себя потешил с удовольствием; усилия тщетные, зато немного согрелся.

Но вот к Яше из храма вышла Юлия.

— Ну, скоро уже, — сказала она. Расстегнула шубку, вытащила спрятанное на груди красное полотнище и запихнула Яше за пазуху. И сказала еще: — Как начнется, миленький, держись возле человека, который будет речь держать, понял? Я буду рядом стоять. Ты понял, да? На знамени — надпись, и ты ее покажешь всем.

— Так я же маленький буду в толпе!

— А тебя поднимут на руках. Не побоишься?

Никому не дано знать заранее, с какой минуты начнется крутой поворот в его судьбе, когда все прежнее отлетает в сторону и несет тебя в неведомое с такой стремительностью, дух захватывает. А судьба Яши как раз в эту минуту и решилась, и, конечно, не мог и он про все заранее знать, но сердце у него забилося, честно говоря, трепыхнулось там что-то волнующее при словах Юлии, в лицо даже ударил жар. Но не испуг сотворил с ним такое, не опаска и не трусость. Наоборот, то было странное чувство, будто только вот сейчас, с этой минуты, начинается нечто самое главное и самое серьезное в его жизни; и по напряженному блеску синих, глубоких глаз Юлии, не спускавшей с него ласкового и в то же время ободряющего взгляда, Яша не только умом, а всем сердцем чуял, понимал, видел — она, Юлия, именно такой готовности к самому главному и серьезному от него и ждет.

— Понимаешь, Яшенька, организация решила, чтобы это сделал только ты! Так надо, миленький!

Яша хотел было ответить: «Честью клянусь вам и

всей организации, что не ударю лицом в грязь!» Но слов этих не произнес, а просто сказал:

— Все сделаю, как надо. Я же сам взялся, так чего говорить-то!

Так он, бывало, отвечал своему фабричному мастеру, когда тот давал ему работу; так отвечал революционерам, берясь выполнять их поручение. Юлия порывисто обняла его, поцеловала и кинулась обратно в храм, а Яша с этой минуты уже не помнил себя — начинался его полет ввысь, и перехватывало дыхание.

Требовалось, чтобы крестьянский сын, ставший ткачом, первым в России поднял революционный красный стяг. Требовалось, чтобы он сделал нечто небывалое. И он это сделает.

3

Вот кончилось богослужение, и публика повалила вниз с широких ступеней храма на площадь и стала расходиться, спугивая галок и стаи воробьев. Полетели и сели на ближайшие крыши и деревья вороны, закаркали. Глядь, от вышедшей из храма публики отделились, как по команде, сотни две людей, в большинстве молодых, были среди них и женщины. Из ближайших трактиров и чайных к ним поспешили группки рабочих. Все сбились в тесный многоголовый круг, скучились и...

Произошло то, что ожидали и не ожидали. На площади, да и в храме, были полицейские, кто в положенной форме, кто в штатском, но за свистки они сразу не ухватились и дали произойти событию, о чем потом пожалеют.

Скоро откроется: власти кое-что о готовящемся знали. Но и им не приходилось еще встречаться с подобным. Демонстрация! Слово то известное, за ним кроется действие, доставляющее немало хлопот блюстителям порядка в западных странах. Но Франция или Англия — одно, а Россия — другое. В России головы монархам

не отрубали, как там, и никаких демонстраций еще не бывало. В Российской империи Бастилий не сокрушали. Она сама как Бастилия, и ни Пугачев, ни Разин, ни декабристы не смогли ее пошатнуть. Так неужели же эти людишки в рабочих картузах, студенческих фуражках и девичьих шляпках смогли бы чем-нибудь ей повредить?

Вот почему городовым было велено оставаться на своих постах, в отдалении, и ждать «поступков» прежде, чем взяться за свистки, хотя один «поступок», ясное дело, был налицо: незаконное сборище целой толпы в неположенном месте.

С минуты на минуту должен был появиться околоточный надзиратель с подмогой.

Быть стычке. Демонстранты это и сами понимали и спешили начать. Они-то знали, на что идут и что им грозит.

Заранее было намечено: сперва будет речь. И речь зазвучала сразу из самого центра толпы, куда вслед за Юлией устремился и Яша. При первых же словах оратора толпа сгрудилась еще теснее, заволновалась, заликовала, но пока еще молча. Яша видел радость на лицах людей и сам тоже ликовал. А Юлия! Голова горделиво откинута назад, в глазах торжество, щеки горят тем же цветом, что и знамя, которое Яша держит уже наготове под колушкой. Право, нельзя было не залюбоваться ею.

Оратор — студент, сразу узнавалось, хотя он и не был в студенческой шинели. Яша не знал его, но с первой минуты проникся уважением к нему. Личность! Глаза сощурены, как у напрягшегося стрелка в момент, когда он опускает курок. Не говорит, а, казалось, метко палит и палит в цель:

— Мы празднуем сегодня день именин нашего великого учителя Николая Гавриловича Чернышевского. Русскому народу давно надо знать это святое имя. Чер-



нышевский — писатель, который едва ли не первый после освобождения крестьянства упрекнул царя-«освободителя» в обмане. Он говорил, что не свободен народ, который чуть не полгода питается древесной корой, у которого продают последнюю корову. Не свободен рабочий, который за плату, едва достаточную для поддержки его жалкой нищенской жизни, работает 15 часов в сутки. Такая свобода не иначе как наглый обман!..

Ветер разносит по площади горячие, обжигающие слова, и Яше кажется, весь Невский слышит, а то и вся императорская столица.

Надолго останется неизвестным, кто произнес речь, за каждое слово которой по законам Российской империи тогда полагалась тюрьма и каторга. Яша Потапов стоял рядом с оратором, хорошо видел его остроглазое лицо и энергичные жесты, но только много времени спустя узнает, что это был Георгий Плеханов, впоследствии знаменитый русский революционер, а тогда еще студент Петербургского Горного института. Но имя оратора сейчас и не интересовало Яшу. Он все больше возбуждался и ощущал нарастающий жар в теле от волнующих слов оратора. Какая смелая речь! Да, то был не простой оратор, а какой-то кудесник. Два-три слова, и новый поворот мысли. Вот на минуту увлек всех за собой в давние дни восстаний Пугачева и Разина и вдруг круто вывернул:

— Но тогда против царского деспотизма поднималась стихийная сила протестующего народа. Русская интеллигенция еще не народилась. Народ не мог тогда найти себе союзника в интеллигенции... Теперь обстановка переменилась. Союз народа с интеллигенцией совершился! И в ознаменование этого союза мы поднимаем красное знамя социалистической революции!..

— Ура! — стали кричать в толпе еще до того, как оратор замолк. Его речь была не так уж коротка, но показалась мгновенной, подобно взрыву.

И тут пришла очередь Яши Потапова.

Стиснутый людьми выше ростом, Яша никогда так не жалел, что ничем богатырским не наделен родителями. Птичка-невеличка, сказал бы всякий, взглянув на его тщедушную фигурку в замурзанном полушубке и низко нахлобученной на голову лохматой шапке. Пока длилась речь, он оглядывался во все стороны, вытягивал шею, чтобы хоть как-то оказаться повыше и увидеть все.

Вдруг словно в сказке желание осуществилось — он взлетел! Это по знаку Юлии трое дюжих ребят из рабочих высоко подняли Яшу на крепких руках, и тотчас алое знамя живой трепещущей птицей словно само вылетело из-за пазухи (некогда в детстве он, бывало, так выпускал голубей). Вознесшись над толпой, Яша с лихорадочной торопливостью развернул неширокое полотнище, и все увидели вышитые белым слова: «Земля и воля!» Свято и чисто светились крупные буквы.

— Ура-а-а! — пронеслась волна восторга над площадью. — Bravo! Ура-а-а! Да здравствует свобода!

Красный стяг озарил толпу и площадь, красный стяг в руках юного рабочего; это еще больше взбудоражило толпу, чем речь оратора. Такого еще не было в России, такого еще никто не видел и не мог видеть, и восторг нарастал, и все усиливались крики «ура».

Кричал и Яша, и сердце у него заходило, замирало до потери дыхания, будто он в самом деле парит высоко в воздухе на невидимых крыльях, словно на сказочном ковре-самолете вознесло его и так уж ему лететь и лететь.

То и был полет, полет юного рабочего в бессмертие, но мог ли он тогда это знать. Казалось, все нечеловеческие муки и страдания, пережитые его предками, дедами и прадедами, ожили и бурлят в толпе и это их голоса звучат:

— Земля-а-а-а! Во-о-оля!

Эта веками выстраданная радость захлестывала жаркой волной и Яшу, он не чувствовал даже рук, которые его держали. Его подбрасывали вверх, но Яше казалось — он сам взлетает. Будто неведомая сила расковала тело, освободила от тяжести, сделала невесомым, как пушинку. Слетела с головы шапка, но Яша и этого не заметил. Он был, как никогда еще, горд и счастлив. Вот она хоть и мгновенная, но ощутимо явленная свобода, и какое же это счастье — осознавать себя вольным, и не одиночкой, а среди людей, где все с тобой заодно, за землю и волю, за самое дорогое на свете. И, стараясь продлить этот миг счастливый, продлить его для себя и для людей, Яша без передышки кричал «ура!» и, сам уже ничего не видя от набежавшей на глаза влаги, во все стороны показывал слова про землю и волю. Смотрите, смотрите, люди! Эй, видите?

По площади зазвучали оголтелые свистки городских, им дали наконец сигнал — разгонять, хватать и бить.

— Опустите Яшу! — дала команду Юлия.

Полет кончился? Нет! Не надо! Яша все тянулся и тянулся со знаменем кверху. Еще хоть маленечко повыше, хоть чуточку. Так с поднятыми руками он и коснулся ногами тверди. Еще не опомнился, когда неугомонная Юлия подняла с земли, нахлобучила ему на голову шапку и сказала:

— Спрячь знамя и выбирайся скорее из толпы!

Плеханову она обмотала голову башлыком, и тот вмиг исчез в толпе. Тут только Яша смекнул, зачем Юлия взяла с собой из дому черный башлык.

— Расходиться надо быстрее! — раздавались голоса, но им противоречили другие: — Нет, братцы. Держаться всем вместе! Вперед! К Невскому!

Что-то уже переломилось в толпе, и стало заметно: это уже не прежняя слитная воедино толпа: разобщились, отодвинулись друг от друга плечи, головы, люди

затолкались, заговорили вразнобой, но еще не остыли и горячили друг друга:

— Вперед, братцы, на Невский! Не расходиться!

Стена городских и дворников, уже прибежавших из ближних домов, двигалась на демонстрантов. Вот врезался в толпу пузатый городской и стал пробиваться в самую середину, чтобы схватить оратора и того, кто флагом над толпой махал. Пузатого вмиг сбили с ног. Путь остальным городским загородили самые дюжие студенты и рабочие, и завязалась драка.

Противостоять пока еще небольшим силам полиции, которые, ободряя самих себя свистками, ринулись на демонстрантов, еще можно было, и в первые минуты схватки городским так досталось, что те бросились наутек. Отпор им дали яростный. Но вмешалась обывательская публика, и дело приняло другой оборот.

— Они хоругву из собора стащили! Божий храм ограбили! — вопили в сбежавшейся публике старушки. — Отнимите хоругву святую, ее видать было! Красная!

Казалось, более нелепого и вздорного слуха, чем кража церковной хоругви, не придумать, а в обывательской толпе поверили и завопили:

— Бей их, антихристов! Держи!

На помощь полиции ринулись с Невского проспекта десятки обывателей, извозчики, стоявшие у моста носильщики. И все скопом, вместе с подоспевшими новыми отрядами городских, набросились на демонстрантов. Страшная, косная, слепая предубежденность, все, что есть в обывателе низменного и тупого, выступило наружу, и началась жестокая, не знающая удержу кулачная расправа.

5

Яша тоже оказался среди арестованных. Схватили его вместе со знаменем за пазухой и книжкой Некрасова за поясом.

Сохранились свидетельства, как был взят Потапов. Одно принадлежит известной революционерке Вере Фигнер. Она и ее сестра, обе участницы демонстрации, вели Яшу к себе обедать. Выбраться из потасовки им удалось, но Яша все рвался обратно, туда, к собору. В себя Яша еще не пришел и не сознавал, какая опасность грозит ему и знамени; он еще был в полете...

«Унести, спасти знамя!» Когда он опомнился, эта мысль обожгла его до жаркого пота. Сестры Фигнер всячески старались помочь Яше уйти от опасности. Но произошло непоправимое. За Яшей следили шпики, они не дали ему уйти.

Один из этих шпииков был в толпе у собора и все видел. Вот свидетельство, которое окажется вскоре в судебном деле схваченных демонстрантов: «Отставной канцелярский чиновник Абрамов, бывший в соборе и на площади, заметил, что молодой парень, которого толпа поднимала со знаменем в руках, скрылся еще до окончания свалки, сопровождаемый несколькими молодыми людьми, отделившимися от толпы. Опасаясь при этой обстановке задерживать молодого парня, Абрамов следил за ним до Большой Садовой, где шедшие разделились: одни пошли по Садовой, а молодой парень в нагольном полушубке направился к публичной библиотеке. Остановленный, по заявлению Абрамова, городовым, неизвестный был препровожден в санкт-петербургское жандармское управление, где при обыске у него был найден флаг из кумача с нашитыми на него белыми шелковыми шнурками словами: «Земля и воля». Во время препровождения задержанного в жандармское он кричал по дороге: «Да здравствует свобода!»

Да, так и было — он кричал в пути.

Когда Яшу везли на извозчике в охранку, публика с недоумением смотрела, как два жандарма в теплых мерлушковых шапках держат за руки с обеих сторон сильно помятого паренька в изорванном кожанке и с

непокрытой головой, несмотря на холод; сопротивлялся, должно, при аресте, и шапку с головы паренька сбили. И верно, не давался Яша, отстаивал до последнего дорогое знамя, себя не жалел, отбивался как только мог.

И сейчас, назло одолевшим его жандармам, улыбался, это-то и удивляло проходную публику. А улыбался он прежде всего оттого, что вспомнилось и не выходило из головы выражение: «Жандармы чижики съели», то есть опростоволосились, не сумели предотвратить демонстрацию, и отныне это будет навсегда особый день, а не просто день зимнего Николы.

А во-вторых, улыбался Яша еще и от задора, чтобы не выдать боли от побоев. И кроме того, смешно было, что вот, наверно, скоро опять его по этапу отправят домой, к отцу, и вся деревня будет говорить: «Ай да Яшка!» А на фабрике Торнтонна скажут: «Молодец! Постоял за нашего брата, и хвала тебе».

Так утешал себя Яша в эти минуты.

Думалось о Юлии — на площади она все кричала Яше: уходи, уходи, уходи! И мысль о Юлии тоже воодушевляла, укрепляла веру в себя и в силу людей, подобных этой девушке. Он припоминал, как она прочла минувшей ночью стихи: «Есть времена, есть целые века, в которые нет ничего желанней, прекраснее — тернового венка», и думал: может, это так и есть, и коли Юлию сейчас тоже везут куда-то, а шляпку с нее, наверно, сбили, то пусть ее согревает мысленно надетый Яшей на нее венец.

А что такое терновый венец, Яша знал: наслышался о нем достаточно, в революционной среде народников упоминался этот венец часто. Ветка этого колючего деревца на голове означала, как понял Яша, готовность к терпению и стойкости. Не раз он слышал и выражение: «Тернистый путь». Ну что ж, готов и Яша вступить на эту дорогу вслед за теми, кого схватили на площади. И хотя, правду сказать, минутами у Яши душа уходила,

что называется, в пятки, он старался превозмочь страх, не дрожать, не поддаваться слабости. Злой декабрьский ветер обдувал его белобрысую голову, мерзли уши, еще красные от пережитого волнения.

Эх, чем бы еще досадить жандармам? Задор в Яше не утихал, и, прежде чем тюремная дверь захлопнется за ним, хотелось еще что-то смелое сделать; смелые голоса, слышанные на площади у собора, еще звучали в ушах Яши. Держали его с обеих сторон так, что не двинешь рукой, но как не могли запретить ему улыбаться, так и голосом своим он волен распоряжаться. И когда проезжали мимо Аничкова дворца, Яша набрал в грудь побольше воздуха и крикнул изо всех сил:

— Да здравствует свобода-а-а!..

— Строптив парень, — сказал один жандарм другому и прочистил мизинцем свободной руки свое ухо, будто выковыривал застрявший там Яшин крик. — Зададут ему перцу!

— Зададут, — сказал второй. — Будь спокоен.

Разговаривали, будто речь шла не о Яше, кого они держали, а о ком-то третьем. Сам он для них уже не существовал.

При подъезде к Цепному мосту более пожилой и суровый на вид жандарм спросил у своего сотоварища:

— А где же убор его, братец?

— Головной? Да ну?! — повел плечом второй. — Есть о чем заботиться-то! Знамя везем, а шапку его с нас не спросят.

— И то верно. Повесить можно и без шапки.

Тут только, при этом разговоре, Яша ощутил, как и в голову и в душу проник лютый холод. Мир человеческой близости и теплоты, мир Юлии и добрых друзей кончился у Цепного моста. Так показалось Яше, когда его втолкнули в подъезд охраны.

Ощущение было такое, будто его сбросили с высоты в бездну...



Глава третья КАРАЮЩИЙ МЕЧ

1

В то самое время, когда схваченных у собора растаскивали по каталажкам и там зверски избивали, не щадя и женщин; в час, когда на Казанской площади и на Невском проспекте еще толпились кучки разгоряченных обывателей и друг перед другом торжествующе похвалялись, как здорово они помогали полиции в драке, а на том месте, где была схватка, по истоптанному снегу уже спокойно прыгали воробьи, и только вороны и галки почему-то не могли успокоиться и все кружились над тяжелым куполом собора, — в это самое время случилось еще вот что.

К одной галдящей кучке бородатых дворников и обывателей подошел рослый чернявый мужчина в смазных сапогах и клетчатом пледе, наброшенном на крепкие плечи. Держась чуть в стороне, он стал прислушиваться к разговору.

— Студенты бунтуют, кому ж еще, — говорил дворник с расквашенным в драке носом. — Страсть какие охальные попались, безо всякой вежливости.

— Там и не студенты были, — сказал другой кто-

то. — Смертным боем чуть не доняли меня. Рабочие тоже были, с фабрик которые.

— Ну? Ужель и эти против царя, отечества? Обнаглели совсем!

На мужчину в пледе поглядывали уже с подозрением; стоит человек, слушает и не поддакивает, как другие, а молчит. Взгляд исподлобья, острый, затаенный. Должно, тоже из «тех самых». Широкополая шляпа, очки, волосы длинные, сапоги, плед. Сам-то отмалчивается, а по живому блеску глаз видно: вроде бы чем-то доволен.

И трудно понять, каким собачьим нюхом что-то учуял дворник с разбитым носом — он вдруг облапил молодого человека и стал ощупывать его карманы.

— С оружием ходишь? Это зачем у тебя револьвер?

— Что такое? В чем дело? Прочь! — отбивался тот, но тут уж душ пять на него навалились, кликнули городских и сообща потащили в участок.

Били по дороге, били в участке. Револьвер отобрали.

Выходящее из ряда вон событие у Казанского собора вызвало переполох в начальственных кругах столицы, и событием этим сразу занялось самое высшее в тогдашней империи полицейское учреждение, оно ведало делами политического розыска, и ему подчинялась вся жандармерия государства. Называлось оно «Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии». И вот, пока в прокуренной канцелярии III отделения у Цепного моста еще скрипели гусиными перьями жандармские «филеры», строча свои донесения, на другой улице — Малой Садовой в кабинете министра юстиции Российской империи графа Палена уже шел разговор, как да что предпринять, чтобы в империи больше не случилось ничего такого.

Сидели у графа Палена люди, коим сам государь император вверил охрану государства и карающий меч правосудия. Среди них были: генерал Трепов (еще

крепкий старик с бравой выправкой), главный прокурор столичной судебной палаты Фукс (низкорослый человек с крупной головой и грозным взглядом), «товарищ прокурора» (это была высокая должность) статский советник Поскочин, о нем еще пойдет речь; и наконец — человек по должности «товарищ министра», тоже статский советник, по фамилии Фриш, милейший с виду господин пожилых лет. Словом, это были особы все видные, почтенные, «государственные мужи», как называли таких.

Граф Пален спешно собрал их у себя и ждет прихода еще одного лица — своего помощника по министерству, весьма опытного и знающего юриста Анатолия Федоровича Кони. Волнуется граф до дурноты, пьет воду и посылает курьера за курьером к Цепному мосту и в полицейские участки: установлены ли имена главных зачинщиков беспорядка у Казанского собора? Ответы неопределенные — пока, мол, трудно сказать, большинство арестованных еще не в состоянии давать вразумительные показания. Отчего? Сильно избиты, ваше сиятельство.

Обеспокоенный вид имел, казалось, и сам царствующий государь император Александр II, он тоже присутствовал здесь — на портрете; впрочем, могло и померещиться при расстроенных нервах, что глаза у венценосца глядят со стены строже и рука на золотом эфесе сабли подрагивает. Во всяком случае, стоило Палену покоситься на огромный портрет, а он это часто делал, и тотчас начинал еще больше дергать и торопить чиновников своей канцелярии. Те, в свою очередь, торопили кого-то еще, и приносили графу в кабинет донесение за донесением.

Из канцелярии корпуса жандармов у графа Палена запросили: желает ли он видеть знамя, оказавшееся в руках полиции?

— Знамя? Какое знамя?

— Красное-с, ваше сиятельство. Без дровка.

Пален, когда выходил из себя, ругался по-немецки, он происходил из семьи обрусевшего немца.

— Цум тойфель! К черту! Какого дьявола мне им любоваться?

2

Курьер приносит новый запрос из III отделения, то есть из той же жандармской канцелярии у Цепного моста: угодно ли его сиятельству фон Палену лично увидеть преступное лицо, схваченное при знамени? На просьбу Палена уточнить, что это за лицо, прибывает ответ: подросток лет шестнадцати *, худенький, белобрысый, весьма невидный собой, но обращает на себя внимание, что он из рабочих. С фабрики Торнтон.

— Возмутительно! — негодует граф. Невесело смеясь, приводит по-латыни пословицу: «Орел не ловит мух». — Вот что забывают наши коллеги из III отделения. Ухватились за какого-то фабричного мальчишку и полагают: дело у них уже в шляпе.

Дело, считает граф, уголовное, а не политическое. Просто взять да выпороть тех мошенников и девок за скандал у собора, и дело с концом. Так и придется докладывать сегодня же государю!

Как министр юстиции, Пален отвечал за соблюдение строгой законности в империи, но не зря тот человек, прихода которого он сейчас ожидает, потом напишет о графе, что на свои обязанности граф смотрел как на «исполнение воли монарха». Того самого, что висит на стене прямо напротив Палена. И будто заранее предугадывая волю осиянного золотым блеском самодержца, Пален твердит:

* По судебным документам и данным некоторых историков, Потапову было шестнадцать лет, по другим сведениям, ему было восемнадцать.

— Выпороть, выпороть! Незачем, господа, придавать арестованным ореол борцов революции и защитников гражданских свобод, у нас и без того на носу два больших процесса этих мошенников и девок. Не стоило бы заводить еще и третий судебный процесс. Майн гот! Видит бог, как мне этого не хочется!

Итак, граф за порку. По законам это с недавних пор не позволялось, но свист розог еще слышался в помещичьих имениях, с крестьянами продолжали расправляться по-старому.

С графом не все согласны; хотя обсуждение инцидента у Казанского собора еще, по сути, не началось (где-то задержался тот чиновник, которого ждут, Пален особенно считается с его мнением), по глазам обоих прокуроров — Фукса и Поскочина и по сосредоточенному молчанию Фриша чувствуется, у них что-то свое на уме. Этот Фриш! Коварный человек, несмотря на свое кажущееся добродушие. Да и Фукс хорош. Никогда прямо в глаза не глядит.

То один, то другой вздохнет, промычит невнятное себе под нос. Назревает серьезный разговор, которого никто не хочет, а не избежать его. Да-с, действительно есть над чем голову поломать.

Версию об украденной хоругви принес Трепов, так ему будто бы доложили сотрудники его градоначальства. «Старый Ярыга» (такая кличка у него в городе) уцепился за вздорный обывательский слух, а дело-то посложнее, куда серьезнее.

За последние годы русская революционно настроенная молодежь задала много хлопот и жандармским, и полицейским, и судебным властям империи. Уже заканчивались в следовательских и прокурорских канцеляриях два огромных судебных дела о «преступной пропаганде в империи», и при участии самого государя намечались члены судебного «особого присутствия», которым и предстояло провести эти процессы.

— Заводить еще третье дело, с, это уж слишком! — твердил с досадой граф. — Сколько их взято на площади? Человек тридцать? О боже! В наступающем году государь надеялся все закончить и лично мне выражал такую надежду. И я заверил его величество, что преступная пропаганда в империи будет в самом скором времени искоренена. Что теперь я буду ему говорить, ума не приложу!

Тут прокурорский вельможа Фукс наконец изволил подать голос:

— Я бы их всех сослал на Сахалин! Всех до единого! И заблокировал бы наглухо остров нашими кораблями!

Шутит он, что ли? Или всерьез? Не разбираясь в прокурорских шутках и тонкостях, Трепов рубит сплеча:

— Тут, господа, дело в дурном влиянии Швейцарии. Оттуда идет все: и глупое это свободомыслие, и бунтарство, и прочее такое.

Выждав немного, пока эхо мощного генеральского голоса утихнет, Фукс пускает в оборот новую каверзу. Он хитрее лисы, Фукс этот! «Поганый Фуксенек» называют его в обществе за малый рост и дурной характер. Но в дальновидности, сообразительности ему не откажешь. Слывет, надо признать, человеком, умеющим из воздуха вылавливать то, чего еще никто другой не чувствует.

Ни один из господ, присутствующих за столом у Палена, не придавал значения тому, что среди схваченных на площади оказался и юный рабочий, а Фукс прямо-таки мертвой хваткой вцепился в эту, как показалось остальным, несущественную подробность.

— Нет, господа, — говорит он, и все поворачивают к нему голову, чтобы видеть его: так глубоко погрузился прокурор в свое кресло. — Это, знаете ли, уже не прежнее «хождение в народ» с пропагандой. Это, знаете ли, скорее выход народа на улицу, на площадь, а отсюда недалеко и до марсельезы и до баррикад!

— Бог с вами, — несогласно морщится граф. — Хватили вы, сударь, позвольте сказать. Нет, нет!

— Отчего же нет, граф, — стоит на своем Фукс. — В Западной Европе рабочие вкупе с революционерами даже сотворили свой интернационал. Известен и их манифест, что скрывать!

Граф это знает и все же отрицательно качает головой — в России, считает он, ничего похожего быть не может.

Но, словно в поддержку Фукса, из III отделения прибывают новые сведения: на площади схвачено, кроме того мальчика, еще двое рабочих, немного постарше годами. Происходят они из крестьян и числятся крестьянами, но установлено, что они заводские.

Как ни коробит присутствующих торжествующий вид карликового Фукса, они, хотя и желают ему в душе черта, прислушиваются к его доводам уже более внимательно. И кажется, нарочито так, из какого-то злорадства Фукс предсказывает много недоброго России: будет в ней, дескать, и чем дальше, тем больше, то же, что и происходит в Западной Европе, — рабочие союзы, забастовки, стачки; не миновать и баррикад, а возможно, будет и такое, чего мир не видел, ибо Россия — это Россия, и народ русский как размахнется, его уже и не остановишь.

И как бы в подтверждение такого рода пророчеств Фукса поступает еще одно донесение: едва пробежав его глазами, граф снова тянется к стакану с водой. Донесение от тайного полицейского агента, сумевшего проникнуть в толпу демонстрантов у собора. По уверению агента, все там, на площади, были поголовно вооружены, если не бомбами, то, по крайней мере, револьверами и кастетами.

В канцелярию III отделения и полицейские части летит новый запрос от Палена: сколько именно и какого вида оружия отобрали у тех, кого успели схватить?

Скоро выясняется: револьверов отобрано два, причем один из них обнаружен уже после демонстрации у молодого человека из прохожих, смахивавшего, по предположению, на демонстранта.

— Как? Два револьвера? Майн гот!

Теперь уже и Пален видел: тут уж спасительной поркой не обойдешься. Эти «девки и мошенники» за оружие берутся! Худо дело!

3

Наконец явился долгожданный Анатолий Федорович Кони, мужчина лет тридцати пяти, с уже седеющими висками и вдумчивым осмотрительным взглядом умудренного жизнью человека. Имя его впоследствии прогремит, он станет известным юристом и литератором и много лет спустя напишет в своих воспоминаниях, как решалось дело в кабинете у Палена.

Трудное положение бывает и у вельмож, и в воспоминаниях Кони говорит об их растерянности:

«Пален после обычных «охов» и «ахов», то заявляя, что надо зачем-то ехать тотчас же к государю, то снова интересуясь подробностями, спросил наконец Фриша и меня, как мы думаем, что следует предпринять, — рассказывает Кони. — Министр был в нерешительности и подавлен непривычностью происшедшего события».

Кони уже знал о случившемся и предвидел недоброе. Первым надлежало ответить на вопрос графа не Кони, а Фришу, и все выжидающе уставились в зажелтевшие от старости глаза товарища министра.

Вот какой совет, по рассказу Кони, подал господин Фриш, человек, о котором говорили, что в правоведении он собаку съел.

«— Что делать? — сказал Фриш, и, медленно оглядев всех своим холодным, стальным взглядом, он приподнял обе руки, сжал на них указательные и большие

пальцы и, быстрым движением отдернув одну от другой книзу, как будто вытягивал шнурок, сделал выразительный щелчок языком...»

Это означало: повесить.

Это вместе с тем означало, что его превосходительство Фриш, хотя и милейший человек и добряк, твердо остается ретивейшим слугой государя и стоит за применение даже крайних мер к тем, кто покушается на самодержавный строй и престол.

У Кони посерело лицо. Выходец из разночинцев (его отец был театральным издателем, мать — актрисой), он считался выскочкой в глазах родовой санкт-петербургской знати. Тем опаснее было для него выступать против жестоких расправ с поборниками обновления русской жизни; он и так слыл «либеральствующим» интеллигентом. Но тут Кони не утерпел.

— Повесить их? — переспросил он у Фриша. — Да вы шутите?

«Не отвечая мне, — вспоминает Кони, — Фриш наклонил голову по направлению к Палену и сказал: «Это единственное средство».

«Негодяй», — подумал Кони. Дальше, по его свидетельству, произошло вот что:

«Пален взглянул на меня вопросительно, и я сказал, что... то, что произошло на Казанской площади, представляется нарушением порядка на улице, по которому следует предоставить полиции произвести обыкновенное расследование. Если обнаружатся признаки политического преступления, то никогда не поздно передать дело жандармам».

Ни с того ни с сего Фукс вставил:

— Вот что значит: оторвался мужик от земли! Пока не появились эти интернационалы с их манифестами, мужичок наш работал у земли и всех кормил. Теперь добра не жди. Раз мужичок от земли оторвался и в пролетариатство пошел, худо дело, господа, худо!

Ах, как Палену хотелось бы согласиться с Кони и не слышать слов Фукса! У Кони ясный ум, это все признают, его осторожность уместна и утешительна, но как обойти все то, что сказал этот противный «Фуксенек».

— На землю надо вернуть мужика, — промолвил Трепов вдруг охрипшим голосом и не без упрека во взгляде повернул голову в сторону мальчишески стройной фигуры государя на стене и крикнул.

Кони сидел молча. Умнее и тактичнее было придерживаться язык за зубами. Он мог бы с усмешкой сказать Трепову: даже такому всесильному полицейскому вельможе, какой вы есть, не повернуть колесо истории вспять. А Фришу можно было бы сказать: своим советом вы лишний раз доказали правоту тех, кто вышел сегодня на Казанскую площадь протестовать против произвола и жестокости царских опричников вроде вас.

Нет, слов этих Кони вслух не произнес. Он часто подавлял в себе рвущиеся из горла слова. Но в одном себе не отказывал — в праве на безгласные размышления. И вот он с горечью подумал: именитые люди, те самые, которые призваны стоять на страже законности, в действительности приносят свои знания и опыт на службу невежеству и бесправии, насилию и дикости. И к великому несчастью для России, ею правит множество подобных им «мужей»; и не откажешь им в образованности, уме, широких познаниях, и в обществе они считаются вполне добропорядочными, уважаемыми людьми, а как дойдет до дела, они рабы, слуги престола.

После Фриша и Кони в разговор вступил Фукс, за ним Поскочин. Оба схитрили и высказались неопределенно: отчасти в поддержку неистового Фриша, отчасти и в пользу точки зрения Кони. Главным для обоих прокуроров было желание не разойтись с мнением государя, а что его величество скажет, один бог ведает. Пален скоро поедет в Зимний дворец, тогда и узнается,

как судить схваченных у Казанского собора. Обвинителем на процессе будет Поскочин, ежели прикажут, а Фукс, как его начальник и главный прокурор, готов ему это приказать, если по воле царя будет устроен суд.

Пален уже в нетерпении поглядывал на часы, когда секретарь подал ему на стол выписку из доноса еще одного агента полиции: будто бы во время демонстрации, когда над площадью взвился алый флаг, кто-то в толпе сказал: «А хорошо, что рабочий мальчик сделал это. За ним — будущее».

Тут Пален вконец расстроился и снова произнес неразборчиво бранное слово по-немецки. И даже руками всплеснул, теряя привычную светскую сдержанность:

— Великая Россия! Уже мальчишки какие-то начинают потрясать твои основы. Ужасно!

Так, ни на что не решившись, Пален закрыл совещание.

Но в тот же день под вечер стало известно: граф был у государя в Зимнем дворце и дело о происшедшем у Казанского собора решено передать в руки жандармского корпуса; при этом государь император высочайше повелеть соизволил, чтобы суд над схваченными демонстрантами был скорым и производился без всяких проволочек особым «присутствием» Сената.

4

В том же декабре, спустя дней десять после демонстрации у собора, последовало новое высочайшее повеление государя: судить схваченных на площади без предварительного следствия; а еще недели через три, в начале января уже наступившего нового года, Яше Потапову и другим оказавшимся в тюремных застенках демонстрантам был вручен обвинительный акт. Яша читал его целый день и до конца так и не смог одолеть. Всего обвиняемых по делу было двадцать один: семна-

дцать мужчин и четыре девушки. Фамилию Юлии Яша не знал и обрадовался, не найдя ее имени среди женских имен арестованных.

Потом Яша узнает: многостраничную прокурорскую писанину сперва показывали государю, и тот за один раз тоже не дочитал все до конца, но обратил особенное внимание на то место, где говорилось о «поступке» обвиняемого юнца Потапова. Передавали: государь поинтересовался даже и тем, сколько лет этому юнцу и откуда он родом. После чего император с простодушным огорчением сказал:

— Весьма грустно: млад, а духом уже столь дерзостен. Кто его родители?

— Ваше величество, они простые крестьяне, — сказали царю.

— Тогда почему же в сем акте указано: рабочий? Надобно так и писать: крестьянин. И рабочих людей с вольнодумствующей публикой не связывать. А он не кается? — спросил еще государь.

— К сожалению, нет, ваше величество. Дерзко упрямствует. Никого не называет, кто его подбил и откуда флаг взялся.

— Весьма печально, господа. Следовало бы его обязательно подвигнуть на покаяние и чтоб главных зачинщиков назвал.

Позднее Яша узнает: государь император столь близко занимался его судебным делом, что даже самолично определил и меру наказания для него.

Узнает Яша впоследствии и о печальной судьбе Юлии. Под арест она не попала, но с площади была увезена с тяжелым сотрясением мозга — от страшного удара полицейской шашки по голове.

А пока что все закрыто от Яши. Его лишили свободы, и никого к нему не допускали. Держали в одиночке, как важного государственного преступника. Камера крошечная, темная... Если с улицы после сле-

пящего сверкания белоснежного январского дня войти сюда, сразу и не разглядишь ничего — глаза должны привыкнуть к серой мгле, ее не в состоянии рассеять даже мутная полоска света, что идет от решетчатого оконца почти у потолка. Нелегко было разбираться при таком свете в обвинительной стряпне. А еще труднее было привыкать к неподвижности. Цепи нет, а ты будто навечно прикован к четырем стенкам. Иногда, правда, через оконце залетал ветерок, но отдавало от него чем-то каменно-душным, что и дышать не хотелось.

Сначала Яша встретил вручение обвинительного акта ершисто (как и все прочее воспринимал с момента, когда оказался в заключении), не захотел расписываться в получении акта, сказался неграмотным.

— Да при тебе книжку нашли! Как же ты говоришь: неграмотный?

— Так точно. Я не учился грамоте.

— Твоя была книжка?

— Моя. Подаренная. Сочинения Некрасова.

— А зачем она тебе была нужна, раз ты грамоте не учился?

— Не учился. Так точно.

— Постой, что ты голову нам морочишь. Не учился, а читаешь книжки. Ты и писать умеешь, а?

— Так точно, — ответил Яша и тут же был пойман на слове: вот тебе обвинительный акт и распишись. Яше надоело упираться, и он вывел на расписке замысловатый росчерк с закорючкой. Нате и отвяжитесь.

И тотчас, оставшись один, взялся читать. Но не подряд, страницу за страницей, а перескакивал с места на место. И возмущался: ох, вранье же.

Потом, правда, пробудилось любопытство, и стало интересно вчитываться в само описание события у собора, и в то, как оно толковалось в обвинительном акте на десятках страниц.

В камеру подавали бачок с «кандером» — жидкой

пшенной кашицей, а он не ел, не мог есть, все вчитывался и вчитывался в затейливо исписанные страницы обвинительного акта.

Перечислялись пофамильно обвиняемые, определялся состав «преступления» каждого подсудимого, были среди них и трое из сапожной, где он ночевал перед демонстрацией, и двое знакомых рабочих. И поражало: судя по акту, все, поголовно все упорно отрицают свое участие в демонстрации, а очутились-де у собора в тот момент по чистой случайности; увидели, мол, толпа народу какая-то стоит, вот и давай глазеть, что, дескать, происходит? И поражало Яшу: зачем же они сами умаляют свою доблесть? Все равно в акте говорилось, что их показания отличаются «неискренностью и неправдоподобностью». Даже Боголюбов, хорошо знакомый Яше молодой революционер, давал какие-то путанные объяснения, и это вконец обескуражило Яшу.

Очень нравился ему этот Боголюбов. Размашистый, веселый, заводной человек! Одно время Яша ходил в воскресную рабочую школу, и Боголюбов там часто появлялся; его уроки нравились фабричным — хорошо и понятно так объяснял. Тем же слушателям, кому больше доверял, опасную книжку потихоньку даст на дом. Встретить его рослую фигуру можно было и в рабочих общежитиях.

В демонстрации и схватке у собора он не участвовал, но был одним из ее организаторов — это Яша знал точно. Одного лишь не мог знать Яша: что Боголюбов и есть тот самый молодой мужчина в высоких сапогах, которого схватили и избили уже после демонстрации, когда у него револьвер нашли в кармане.

Остыл кандер; а Яша в расстройстве ничего не замечает, тяжело ему читать:

«Архип Петрович Боголюбов, проживающий в Петербурге без всяких определенных занятий, показал

первоначально, что 6 декабря после часа пополудни пошел из своей квартиры гулять на острова и попал совершенно случайно к Казанскому собору во время беспорядка и задержан был без всякого основания...»

Гремит дверь, в камеру заглядывает сутулый служитель, качает обритой солдатской головой.

— Ты чего? Наизусть эту бумагу изучаешь? — Присаживается рядом на койку и с неожиданной добротой говорит: — Ну, пострел, задаешь ты загадки начальству, слышал я, да и сам вижу. Откудова, скажи на милость, ты такой взялся, а? Из серой простоты вырос и сам с виду серенький, как воробушек, а гляди-кось, свое «я» доказываешь здорово!

Наверно, сутулому не хватает воздуху в темных тюремных коридорах, где он обретался; он тащит Яшин табурет к окну и залезает наверх подышать из окошка. А может, тоскует не меньше узника по приволью, по синему небу.

— Тяжелые времена настали, худое житье и наше, — жалуется он, неизвестно к кому обращаясь там, у окошка. — Так бы и бросил все... В деревню бы обратно уехал, да и там, говорят, делать нечего... Бегут откудова, как вроде и сам я. Так оно и в городе не сладко.

Иногда он приносил Яше передачи и говорил: это от каких-то доброжелателей из Красного Креста. Яша вскидывался — это кто же? Женщины? Молодые? Может, Юлия среди них была?

Ответ был такой:

— Прокурор, видишь, не позволяет свиданий. Зуб на тебя имеет. Не каешься, стоишь на своем. Даже, почитай, жалоб и то никаких не подаешь.

Жаловаться? С того дня, когда у него отняли свободу, он еще ни о чем не просил у своих тюремщиков, не стучал в железную дверь, когда запаздывала еда, а желудок подводило от голодной боли; не подавал прошений, как другие заключенные; не звал к себе тюрем-

ного врача, хотя сильное недомогание и трясучка одолевали его дня три.

Ничего не надо ему, ничего решительно!

Он замкнулся в себе и жил только своим особым внутренним миром, все думал, думал, как же себя вести. И то, что он иногда сам себе говорил, казалось ему, произнесено не им, а Юлией, так отчетливо отдавался в ушах ее бархатистый голос:

— Ты все выдержи, миленький, хороший мой, да только от своих высоких мыслей не отрекайся: это плохая дорога — отказ от собственных убеждений, она-то и ведет в омут.

5

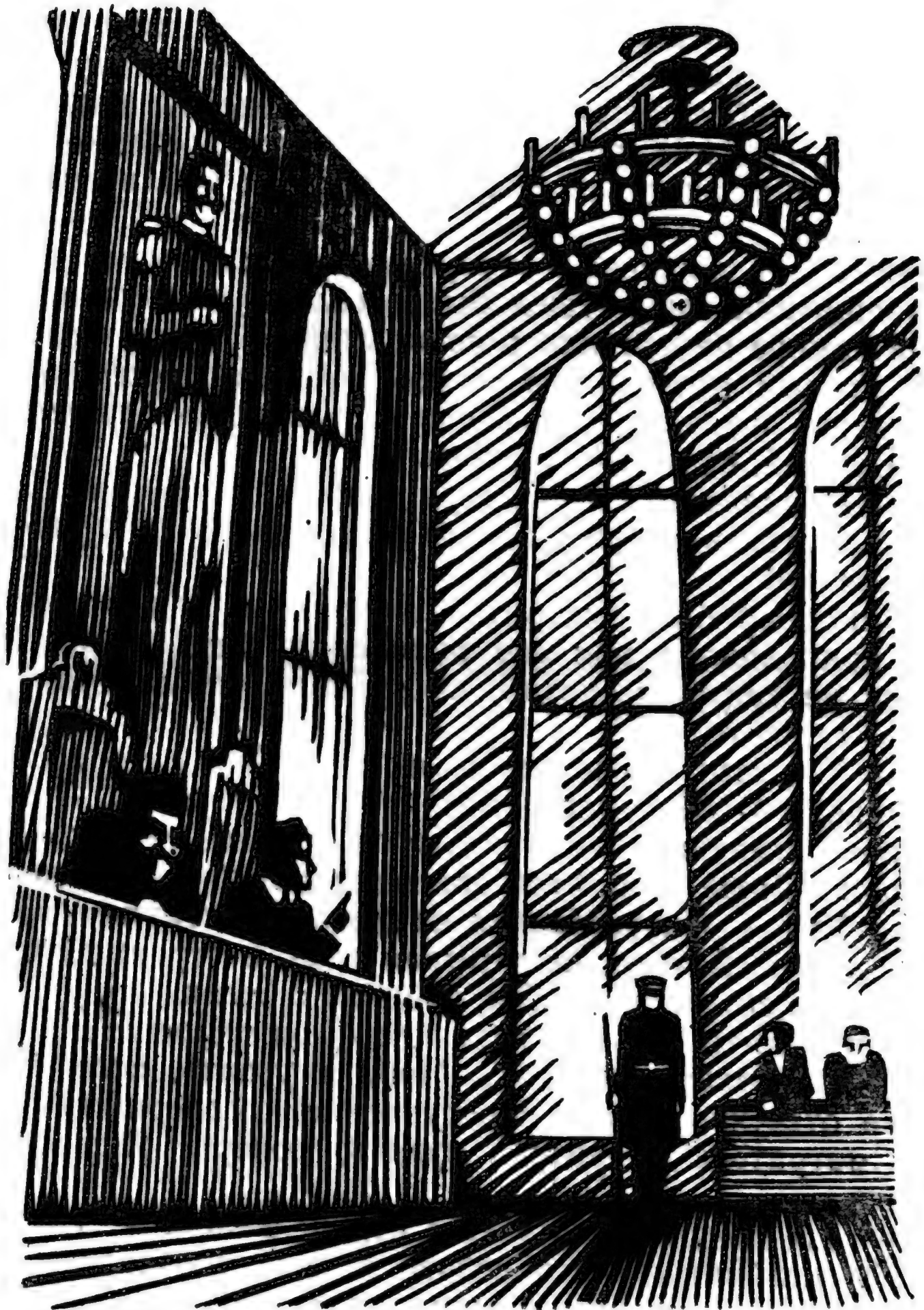
И вдруг душу Яши смутило некое новое событие (а в тюремной жизни все событие): рано утром явился к узнику полный пожилой мужчина в господской крылатке, накинутой на черный костюм. Часы с золотой цепочкой в жилете; с виду, по выражению рыжеватых глаз, добродушный. Только дышал он тяжело и шумно, с присвистом. Оказалось, кто-то за Яшу хлопотал, и ему дан защитник — этот самый господин в крылатке.

— А кто же вас ко мне прислал? — допытывался Яша и не скрывал своей подозрительности.

— Я незваный гость, выходит? — посмеялся защитник. — А прислали меня люди, желающие тебе добра, мой мальчик. Сам я тоже этого тебе от всей души желаю. Позволь присесть. У меня одышка.

Он уселся на табурет, и при первом же его вопросе Яша замкнулся наглухо. Интересовала защитника вся прошлая жизнь Яши: поди расскажи ему все начисто про свое детство, про то, как жил в родительском доме и почему так рано подался в Питер на заработки. И прочее и прочее. Как ни настаивал защитник, Яша отнекивался и на все вопросы отвечал:

— А вы бумагу эту читали?



— Акт обвинительный? Ну, читал, конечно.

— Так чего и спрашиваете? Там про меня все есть.

— Дитя мое, читал я все бумаги по твоему делу, мне это по обязанности положено, — говорил защитник, всячески стараясь расположить Яшу к себе, — но я должен дополнительно получить от тебя еще некоторые данные...

«Эка привязался», — угрюмо думал Яша, и, наверно, защитник так и ушел бы не солоно хлебавши, если бы в камере не появилось новое лицо — представительный рослый мужчина в строго поблескивающих очках и в синей шинели. С ним была целая свита тюремных служителей, включая сутулого.

— Начальство, — шепнул сутулый Яше и крикнул: — Стоять смирно! Какие есть жалобы, в случае чего заявляй!

Очкастый был смотрителем тюрьмы; защитник тотчас приподнялся при его появлении. Яша поднялся с койки не сразу, неохотно; смотритель это заметил, покачал седой головой.

— Хм, этот, кажется, не из таковских, кто жалобы заявляет? — обратился смотритель к сутулому. — А вам он дает сведения? — спросил он у защитника. — Не желает? Даже того, чтоб его защищали на суде, не желает? Хм! — Он уставился на Яшу пристальным взглядом, долго смотрел, не отрывая глаз, и странный блеск заиграл в его очках. — Хм, крепкий орешек.

Яшу что-то изнутри толкнуло, и он спросил:

— Позвольте сказать... Могу я узнать, коли пожелаете ответить: какое преступление я совершил?

Смотритель посмотрел куда-то поверх Яшиной головы:

— Ты покушался на наш строй, малец. — Ни тени злобы незаметно было сейчас в глазах очкастого, так произносят положенные слова, может быть, даже и не в полном согласии с ними. — А вы, разумеется, иного

мнения? — обратился он затем к защитнику. — С вашей точки зрения, он, конечно, пострадал за великое дело любви, как это у поэта Некрасова красиво выражено. Так-с?

Защитник ответил уклончиво: он, мол, еще не разобрался в деле подсудимого как следует и поэтому пока еще никаких определенных соображений высказать не может. Но его подзащитный, бесспорно, не заслуживает суровой кары, в этом никаких сомнений нет.

— Я предполагал, он из тех, кто ходил в народ, хм, — сказал смотритель тюрьмы. — А тут нечто другое-с.

— Вот именно, — подхватил защитник. — Перед вами, ваше высокоблагородие, дитя нового времени, как я успел уже понять. Сын новой России, осмелюсь сказать. Он, если хотите, действительно пострадал за великое дело любви, с таким определением я, безусловно, соглашусь.

Когда после ухода тюремщиков и защитника Яша остался один, он вспомнил то четверостишие, о котором они говорили:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви...

Защитник пришел и на завтра, он спешил до начала судебного процесса все узнать; теперь уже охотно беседуя с ним, Яша сам тоже задавал вопросы; некоторые из них удивили защитника.

Попросил, например, Яша рассказать, что за такая муза Клио была. И что означают слова «Рубикон перейден». Защитник взмолился:

— Послушайте, дражайший! — Он вдруг стал обращаться к Яше на «вы». — Не обижайтесь! Но я очень занятой человек и мне просто некогда. — Все же объяснил: — Когда говорят «Рубикон перейден», то имеется

в виду: решительный шаг сделан и отступления нет. А Рубиконом называлась в Древнем Риме река.

Защитник запахивался в свою крылатку в знак того, что уже собирается уйти.

— У вас суд на носу, голубчик, дитя мое, а вы бог знает чем забиваете себе голову. Я отнюдь не упрекаю вас, друг мой, вы вправе все это знать. Общество сытых и знатных просто обворовало вас, как и весь народ, но будем верить: придет время, когда наука и культура станут достоянием всего народа. А пока надо терпеть...

— Бороться, — убежденно сказал Яша.

— С вас хватит! — замахал на Яшу обеими руками защитник. — Не вздумайте на процессе воевать с ветряными мельницами, как Дон-Кихот... Не поддавайтесь прокурору и судьям, не воюйте с ними, ради всего святого, умоляю вас, сидите тихо, ради бога!

В конце концов он уговорил Яшу отпираться на суде от всех обвинений, но поддался Яша на это лишь тогда, когда защитник объяснил ему, кто был Дон-Кихот и еще многое другое.

Теперь Яша знал: Клио — это муза истории; Вольтер — знаменитый французский мыслитель-вольнодумец, живший в XVIII веке; а скрижали — это просто доска с чем-то написанным на ней из Библии. Сильно запечатлелся в памяти Яши образ великодушного радетеля за справедливость в мире Дон-Кихота; и долго еще, оставшись один в камере, Яша улыбался, представляя себе, как воевал славный рыцарь с ветряными мельницами....

6

Судили казанских демонстрантов в Санкт-Петербургском окружном суде. Процесс длился больше недели.

Важно восседали в своих креслах с высокими спинками господа члены суда «особого присутствия» — сенаторы в шитых золотом красных мундирах (все трое — их высокопревосходительства). Ожесточенно нападал на обвиняемых прокурор Поскочин, тот самый, что присутствовал на совещании у графа Палена в день демонстрации у собора. Ближе от скамьи подсудимых сидели за своими столиками защитники.

Все схваченные на площади у собора в один голос твердили: дескать, попали они в толпу демонстрантов случайно; Боголюбов тоже все отрицал. По синим кровоподтекам на изможденном, осунувшемся лице видно было — избили его зверски.

А в зале среди публики, по большей части высокопоставленной (человек сто сидело там), среди черных фраков и нарядных дамских шляп однажды показался Анатолий Федорович Кони — посидел, послушал, внимательно взгляделся в лица подсудимых и скоро ушел.

— Молчите, умоляю! — снова и снова говорил Яше защитник, оборачиваясь к нему. — Исход дела заранее предрешен, поймите!

Яша опустит глаза и сидит тихо, а на душе у него все нарастает тяжесть, изболелось сердце, и тоска гложет. А значение слов «исход дела предрешен» до него пока еще не доходит, иначе понял бы, какая страшная грозная туча нависает над его головой.

Уже было ясно — большинство главных устроителей демонстрации у Казанского собора, руководство организации, которая ее подготовила, не попали в лапы жандармов. Ну и слава богу, хоть это радовало.

Когда прокурор Поскочин, извиваясь своим длинным тощим туловищем, произносил в конце процесса обвинительную речь, Яша большую ее часть почти не слушал. Все сильнее, прямо до слез прохватывало горькое чувство: он лишь сейчас начинал понимать, как далеко от него отодвинулось детство; не успел огля-

нуться, а жизнь уже со всей силой обрушила на него свой удар. Думая об этом под нудное журчание речи Поскочина, Яша не сводил глаз с окон в дальнем конце зала. Смотрел на тусклый свет январского полдня, на серое петербургское небо и сам не сознавал, что делает это по заложенной в нем дедами крестьянской привычке: вид неба всегда привлекал к себе его взгляд.

Утречком, бывало, еще в том далеком детстве дерет глаза и первым делом взглянет, что там за окошком, на дворе. Идет полем, и малейшее изменение цвета неба, ни одно облачко не ускользнет от глаз Яши. Поглядывал он часто на небо и из фабричных окон, когда уж стал ткачом. Вечером в рабочем общежитии перед сном по привычке окинет взглядом померкшее небо, а ночью, когда не спалось, под храп соседей только на звезды за окном и поглядывал, или на луну, или на тучи.

И сейчас ему страстно хотелось в лес, в поле, хотелось бродить по знакомым тропкам... Увы! Он арестант, его судят!

Яша услышал — прокурор Поскочин говорит о нем, и вскинулся, отвел задумчивый взгляд от дальнего неба.

— Я необходимо должен, господа судьи, обратить ваше внимание на одно весьма существенное обстоятельство дела.. Кто является, господа судьи, самым реальным деятелем, провозгласителем тех принципов, которые выражаются в словах «Земля и воля»? Потапов, деревенский мальчик, человек, который не знает даже грамоты! Он приходит на Казанскую площадь, приносит флаг, его поднимают, он старательно развешивает этот флаг для предъявления зрителям, и он же является хранителем его!..

— Это про меня так? — едва верил своим ушам Яша. — Это я-то «провозгласитель»?

— ...Он уносит флаг, покидая толпу во время аре-

стов. Он уходит, прикрываемый лицами, принадлежащими к интеллигенции...

В зале притихли.

— ...Что же это за связь между Потаповым и молодежью, называющей себя учащейся и находящейся здесь, на общей всем скамье подсудимых? Что за связь между Потаповым и другими несколькими подсудимыми, вроде него, и этими людьми? Есть ли у них общие интересы?

В зале стало еще тише.

— ...Спрашивается, есть ли у них общие интересы? Одни из них должны работать, трудиться, зарабатывать насущный кусок хлеба, тогда как другие заняты интересами более высшими, интересами науки. Что же это за связь? Вот над чем стоит поразмыслить, вот что составляет такое обстоятельство, которое придает наглядно серьезное значение беспорядку шестого декабря. Вот почему на этот беспорядок нельзя смотреть слишком легко. Что такое был Потапов прежде?

Яша с трудом удержался, хотел встать и спросить:

— А вы можете ли знать это лучше, нежели я сам? Нет!

Порыв Яши погасился мгновенно от бросившегося в глаза мясистого затылка и рыжей шевелюры защитника.

— Зададимся вопросом, что он такое был прежде? — продолжал Поскочин. — Это был простой мальчик, хороший работник, который уже с 12 лет поддерживал свою семью, который трудился, — и чем же он сделался теперь? Он является здесь перед вами одним из самых главных деятелей казанской демонстрации, и если обвинение не выделяет его как главного виноватого, то потому, что не находит в себе достаточного мужества, чтобы поставить против него это обвинение...

«Вишь ты как!» — усмехнулся Яша при этих словах Поскочина.

— ...Потапов, господа судьи, — продолжал тот, — это такая страшная улика против всех обвиняемых из интеллигенции, это такая разбитая вначале («Кто же разбил?» — чуть не крикнул тут Яша) и вместе с тем такая порочная жизнь («в чем же пороки мои, господин прокурор?» — уже душила Яшу обида) простого русского человека, что, мне кажется, она не может не оставить в каждом самого тяжелого впечатления. Эта оторванная от семьи и честного труда («сам же говорил, что я хороший работник!») личность Потапова оттеняет смысл девиза «Земля и воля» («непонятно!»). Все нравственное значение этого дела шестого декабря прошлого года заключается в том непонятном («ага!») соединении разнородных, чуждых друг другу элементов нашего общества, связанных пред вами, господа судьи и господа сословные представители, одним общим для всех них обвинением...

Он сделал свое дело, прокурор; он по-своему исполнил волю монарха: не смешивать и не связывать рабочих людей с вольнодумствующей образованной публикой. Но государь император эту речь не одобрит. Не все, что говорится в царских апартаментах, следует выносить на широкую огласку. А вслед за Александром II этой речью будет недоволен и граф Пален.

7

Еще за день до окончания суда Кони проведаль, какие тяжкие наказания грозят подсудимым, и явился к графу Палену домой в необычный ранний утренний час — граф только что поднялся с постели.

— Ваше сиятельство, — сказал Кони, когда они перешли в гостиную и уселись у камина. — Я хочу поговорить с вами о деле казанских демонстрантов. Приговор уже предрешен, и я нахожу, что он чересчур жесток.

Пален вздохнул с выражением человека, которому, видит бог, не хочется вести начатый Кони разговор. Взяв в рот сигару, он скрестил на груди руки.

— Но что прикажете делать, дорогой Анатолий Федорович? Члены особого присутствия на этом процессе: Петерс, Тизенгаузен, Похвиснев — вам известны. Это сенаторы из лучших. И мне кажется, на их месте вы тоже были бы жестоки. Положение обязывает, увы!..

Он добавил, льстя приверженности Кони к крылатым латинским выражениям:

— Карфаген должен быть разрушен. Что бы ни было, наше дело искоренять, искоренять, искоренять крамолу.

Фразу «Карфаген должен быть разрушен» граф произнес по-латыни; этими словами в Древнем Риме сенатор Катон заканчивал каждую свою речь, призывая уничтожить врага Рима — Карфаген.

— Ваше сиятельство, — говорил графу Анатолий Федорович в это январское утро, — насилие под видом закона может породить лишь новые насилия. Крайности порождают противоположные крайности, граф. Я позволю себе добавить: *Par pari regertur*.

Это означало: равное равному воздастся.

Пален недоверчиво морщился, крутил головой, и Кони в эти минуты думал: «Придется подать прошение об отставке».

Простодушие графа вряд ли было искренним. Он делал вид, будто не понимает Кони.

— Но в чем вы тут усматриваете насилие?

— Нарушается законность, ваше сиятельство.

— Я не вижу этого. Дело не обычное.

— Да, дело не просто уголовное, но...

— Оно по своему направлению из ряда вон выходит, Анатолий Федорович! — сказал с сердцем граф. — Кроме всего прочего, мы тут имеем дело с сопротивлением властям! На Казанской площади были избиты наши полицейские!

— Была драка, что ж, — усмехнулся Кони. — Когда дерутся, кому-то влетает.

— Но позвольте вам напомнить слова Фукса на нашем совещании в день беспорядка. Это уже, извините, не хождение в народ с пропагандой. Раз полиции было оказано сопротивление, то это прямое сопротивление власти, а следовательно, отрицание власти!

— Ваше сиятельство, простите, — остановил Палена Анатолий Федорович. — Неужели вы не готовы признать, что люди там, у собора, были отнюдь не худшими членами нашего общества, хотя они и пошли на запретное действие. Согласитесь, ваше сиятельство, признать и за ними какие-то высшие помыслы.

Граф не без любопытства посмотрел на своего помощника по министерству. Призыв к благоразумию — это еще куда ни шло, но признавать за мошенниками и девками какие-то «высшие помыслы» — это граф слышал от Кони впервые.

«Глуп я», — сам себя выругал Кони, ведь ясна бесполезность попыток добиться законности в самодержавном государстве. Но долг! Но совесть! И Кони продолжал разговор с раболепным министром, у которого сам находился в услужении. Подавляя досаду, Кони старался доказать графу, что можно, допустим, закрывать глаза на те гражданские чувства, которые заставили людей выйти с красным флагом на Казанскую площадь, но можно ли было предавать суду людей, минуя следствие, ограничиваясь одним беглым дознанием в жандармском III отделении. В конце концов, это нарушение правил судопроизводства, высочайше утвержденных самим государем.

Пален с легкой усмешкой произнес:

— Государь утвердил, государь может и отменить. Во всяком случае, — добавил граф, — нечего давать этим мошенникам и девкам швейцарские гарантии суда. Россия не Швейцария. Мы служим с вами престо-

лу, дорогой Анатолий Федорович, и должны учитывать: государь в гневе. Он требует безжалостно искоренять крамолу, и мы должны исполнять его волю, все остальное не имеет никакого значения. Гражданственность хороша, но только не для России!..

Что оставалось Кони? Возражать графу, доказывать, что нельзя держать народ на коленях, что строгое соблюдение законности — основа существования всякого цивилизованного государства? Пален это знал и сам, разумеется. Но «государь в гневе», это было сейчас решающим для Палена, и он был готов идти на все, чтобы ублаготворить императора. И снова, в который раз, Кони сказал себе с горечью, что нет смысла оставаться дольше в министерстве юстиции, он попросится на другое место и другую должность.

— Ваше сиятельство, — сказал Анатолий Федорович с тяжелым вздохом. — Подсудимых собираются отправить на каторгу и в ссылку. Приговор предрешен. Одному из них, Боголюбову, собираются дать каторжные работы в рудниках на целых 15 лет! Другим грозит по десять и по шесть лет каторги. Кроме того, среди подсудимых, как видно из дела, имеются простые рабочие...

— Нет там рабочих, ошибаетесь, — с неожиданной резкостью перебил Пален. — Вчера только я беседовал с шефом жандармов, и знаю, что среди этих мерзавцев большинство студентов и двое-трое крестьян, а рабочих никаких нет.

— Я знакомился с подробностями дела, ваше сиятельство. Среди подсудимых есть один совсем еще юный рабочий. Его тоже собираются загонять в Сибирь. Это значит погубить человека смолodu. Я не могу с этим согласиться, ваше сиятельство, и думаю, вы поступите в высшей степени великодушно, если подскажете сегодня государю, за которым последнее решающее слово, необходимость более мягких мер.

— Иначе говоря, вы ставите вопрос о послабле-

нии? — спросил граф, бросая озабоченный взгляд на часы. — Не знаю, возможно ли послабление, когда перед Россией начинается маячить призрак революции. Государь не согласится!

Кони не отступал:

— Но, надеюсь, ему будет доложено, что среди подсудимых не оказалось главных зачинщиков. Это рядовые учащиеся, совсем еще молодые люди. К ним можно было бы применить наказание средней степени в крайнем случае, а рабочих и самого юного из них, Потапова, вовсе не стоило бы ссылатъ в Сибирь. Я предложил бы, на худой конец, другую меру.

— Какую? — поднял голову граф.

— Здесь у нас, за городом, есть колония для малолетних преступников. Полагаю, что несовершеннолетних рабочих, или, простите, крестьян, как угодно вам их называть, следовало бы отдать в эту колонию на воспитание.

— Нет! — решительно произнес граф и встал, давая понять, что считает разговор законченным. — Я уже сказал — государь в гневе и его воля для нас превыше всего. И, как говорили в Древнем Риме: «Да свершится правосудие, хотя бы и погиб мир».

Последние слова Пален опять произнес пол-латыни. Кони подавил в себе усмешку.

8

— Злоумышленники желают запугать ваше императорское величество, — сказал Пален государю на докладе. — И полагаю, вы должны проявить твердость.

Сказал это Пален потому, что государь при нем расчувствовался и выразил самое неподдельное сожаление по поводу суровости предстоящего приговора казанским демонстрантам. И можно было удивиться, как хорошо известны государю подробности дела и хода судебного

процесса. Но Пален знал — у государя свои осведомители, и первый среди них — Трепов.

— Сколько же их там, несовершеннолетних? — спросил царь. — Двое? Я имею в виду крестьян.

— Трое, ваше величество. Но несовершеннолетних двое.

Царь взял с секретера листок с фамилиями подсудимых, прошел к окну. Широко раскинулась внизу дворцовая площадь. Близко захлопал крыльями сорвавшийся с наружного подоконника голубь, и царь вздрогнул.

— Вижу. Одному — шестнадцать, второму — восемнадцать. Но кричал «Да здравствует свобода» самый младший — Потапов этот.

— Весьма прискорбный факт, ваше величество.

— Все неутешительно, все абсолютно! — говорил царь, расхаживая возле окна со списком. — Произошло дерзостное порицание установленного государственными законами образа правления, но не только! — Царь остановился и помахал списком в воздухе. — Я нахожу особенно опасным имевшее при сем место насильственное сопротивление. Того, кто позволит себе кричать неподобные вольности, можно образумить. За дерзостное порицание в устной или письменной форме — строго взыскать. Но когда у нас в столице некие люди берутся за револьвер — это уже начало якобинства. Граф, меня это более всего удручает!

— Горячая кровь, слишком юношеский пыл, ваше величество. Нельзя не признать.

— Я и признаю! — покивал царь и подошел с листком к висящей на стене большой географической карте России. — Мне ясно, как и вам, граф, что в обществе могут быть личности, которые смотрят иначе на многое, нежели смотрим мы. Но недопустим, повторяю, насильственный радикализм! Когда начинают оказывать сопротивление и хватаются за оружие, подобно этому...

Царь заглянул в список лишь для видимости, указанные там фамилии почти все уже помнил. Он уткнулся взглядом в Боголюбова и с минуту подумал, потом окинул взглядом ту часть карты, где лежала Сибирь, и довольно быстро определил, где и в каком месте отбывать каторгу тому, кто был схвачен на площади с револьвером. Пальцем провел по карте до Нерчинских рудников и, уже не отнимая пальца от карты, без труда приискал места заключения для остальных фамилий, отмеченных сбоку красными птичками.

Пален не впервые видел царя за подобным занятием. Государь обнаруживал при каждой надобности отличное знание множества мест отбывания каторги и ссылки, тюрем, крепостей, централов, рудников; все они делились на «места отдаленные» и места «не столь отдаленные».

— Государь, ваше императорское величество, — сказал Пален, когда почувствовал по движению царского пальца, что всем двадцати одному подсудимому по казанскому делу уже подысканы места заключения. — По крайней мере, один из несовершеннолетних преступников, а именно Потапов, заслуживал бы особой меры, которую я хотел бы представить на ваше высочайшее усмотрение.

— Что? — вонзил в Палена император острый взгляд. — Впрочем, я знаю, что вы намерены предложить.

Пален замолк. Решил выждать, пусть сначала скажет царь, какую кару он решил применить к Потапову. Кара эта оказалась неожиданной, хотя и нередко применялась.

— В отдаленный монастырь его, — сказал царь и опять направил палец на карту. — Вот сюда Потапова, — он ткнул в какой-то кружочек возле Вологды. — На пять лет с поручением его там особому попечению монастырского начальства для исправления

нравственности и утверждения его в правилах христианского долга. И второго, который постарше, тоже в монастырь, но в другой, вот сюда!..

Пален уже не стал глядеть, куда показывает государь. Обрадовался как нельзя более тому, что все уже решено и не надо просить государя о милости, на которой настаивает Кони. Бесполезно предлагать что-нибудь другое, когда дело предрешено, — в этом, конечно, было нарушение общепринятой законности, прав Кони, но как легко на душе, когда палец единодержавного монарха уже распорядился обо всем и обо всех и не от вас зависит что-либо изменить.

— Впрочем, это еще не окончательно, — сказал царь, отходя от карты. — Но судьям следует посоветовать представить такое решение мне.

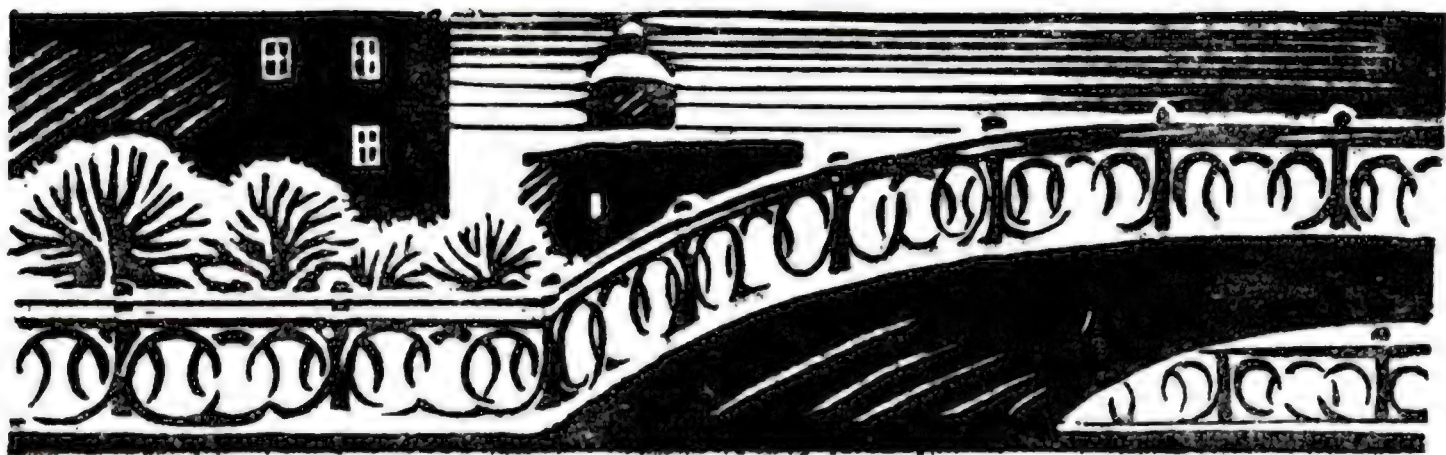
— Прекрасно, ваше величество! — В знак искреннего восхищения такой распорядительностью государя Пален приложил руку к сердцу. — Разумеется, последнее слово за вами, и вам будет предоставлена возможность проявить свою монаршую милость.

Часом позже в министерстве Пален рассказывал обо всем Кони, и чувствовалось, граф доволен любезным приемом, какой оказал ему государь. Что касается дела казанских демонстрантов, то как быть, если в государстве столько трудных проблем и одна сложнее другой? Поневоле приходится идти на крайность и загонять людей на каторгу.

— Но, простите, граф, я позволю себе заметить, — перебил Кони. — Разве можно избавиться от проблем посредством избавления от людей?

Граф поднял палец и помахал им прямо перед лицом Кони.

— Пусть не кричат «Да здравствует свобода» и не хватаются за револьверы! Его императорское величество оказался сегодня, как и всегда, впрочем, на должной высоте. Он понимает Россию!..



Глава четвертая СЕРМЯГА ВСЕ БУНТУЕТ

1

Приговор по делу казанских демонстрантов поразил Петербург своей жестокостью. Каторга, ссылка в Сибирь и лишение на много лет «прав состояния». Беспощадность такой кары показалась чрезмерной даже многим верным режиму «благомыслящим» людям. Когда решение суда было оглашено в газетах, о нем только и толковали в домах столицы.

Как царь и пожелал, приговор обрушивал наиболее сильный удар по тем, кто, кроме участия в «дерзостном порицании самодержавной власти», еще сверх того оказывал «соединенное с насилием сопротивление чинам полиции». И первым в приговоре шел Архип Боголюбов, как заглавный зачинщик всего; ему вменялось в вину и участие в самой демонстрации, чего на самом деле не было.

О Потапове и остальных двух рабочих суд постановил: все трое подлежат ссылке в Сибирь, но — говорилось в приговоре — «во внимание к свойственному их летам легкомыслию, к отсутствию той обдуманности в действиях, которое представляется относительно лиц,

оказавшихся более виновными по настоящему делу и, наконец, к тому, что трое из сих подсудимых, принадлежа к крестьянскому сословию, могли быть вовлечены в преступление только влиянием чуждой этому сословию среды, из которой происходят преступные стремления, порождающие дела, подобные настоящему, — подвергнуть сие особое уважение на милостивое воззрение Государя-императора и ходатайствовать перед его Императорским Величеством о замене... упомянутого выше наказания... отдачею их в один из отдаленных монастырей на пять лет, с поручением их там особому попечению монастырского начальства...»

Монаршая милость была объявлена Яше и остальным осужденным только лишь в мае, а до мая в течение долгих четырех месяцев после суда Александр II придерживал свое «высочайшее повеление». И это тоже была особого рода пытка — сиди и жди монаршей милости, жди и уповай на нее и проникнись в полной мере сознанием своей вины.

Мучительно тянулись дни...

И вот наконец, когда на дворе уже был летний день, Яше сказали: его ждет монастырь.

— Под черную шапку тебя, братец, — с сочувствием говорил сутулый в этот горестный для Яши день. — Только ты не убивайся, везде люди живут. Раз надо, то и живешь.

Яша еще в последний день суда, в январе, когда оглашался приговор, стал протестовать: не хочет он к шахам-монахам, уж лучше Сибирь.

До Яши никак не доходил смысл указанной в приговоре цели отдачи его в монастырь: «для исправления нравственности и утверждения в правилах христианского и верноподданнического долга». К кому только можно в тюрьме обращаться с вопросом, Яша обращался, и все не мог понять: да разве его поведение в день демонстрации у собора нарушение этой самой

нравственности? Шло против христианского долга? Коли так, то что же она такое: нравственность? И в чем они состоят — правила христианского долга?

Однажды, когда Яша в угрюмом раздумье лежал на своей койке, вошел в камеру сутулый и объявил:

— Какая-то госпожа-дама добилась свидания с тобой. Иди! Ступай, ступай, она уже ждет!

Ждала Яшу пожилая женщина, вся одетая в черное. Она принесла узнику корзинку с провизией, белье, а сверху лежала небольшая книжка с крестом на переплете. Оказалось — Евангелие. По богатой одежде и поведению дамы Яша смекнул: эта не может ничего знать о Юлии, она из другого круга. И потому поглядывал на гостью настороженно, был немногословен.

Она протянула Яше Евангелие — оно-де научит его святой кротости и даст ответы на все вопросы души.

— На все? — переспросил Яша и из озорства соврал: — Так я же неграмотный, не читаю ни по-каковски!

— Разве? — удивилась дама. — А до меня дошло, что ты читаешь книжки.

— Читаю, да плохо... а лучше бы вы мне сами кое-что объяснили. Вот, скажем, для чего людям эта самая, как сказали вы, сударыня, ну святая кротость, когда на земле столько несправедливости? Меня-то за что осудили в монастырь идти? Какие грехи мне там замаливать? Никого не убивал, ничего не грабил!

— Какие грехи? — переспросила дама и приложила носовой платочек к глазам. — Все мы грешны, дитя мое, нет на свете людей безгрешных, увы, так мир устроен!

— А отчего он так устроен? — Яша затем спросил еще: — Без греха нету никого, вы сказали, а почему? А вдруг это и не грешно-то вовсе — то, что они делают? Может, и греха-то тут нет никакого? А вдруг грех — это что-то совсем другое?

Держа у глаз платочек, дама говорила с волнением: — Боже правый, как мы перед вами виноваты, ах, как виноваты! Ведь это мы, мы, мы сами довели вас до этого трагизма, до вынужденного насилия против язв нашей жизни! Это мы, образованное общество, все мы, мы — причина, что, лишённые всего, вы сами бросаетесь в пропасть. Голубчик, милый, вы думаете, мы не знаем, как страдает наш несчастный, обездоленный народ? Знаем, все знаем и видим! Но не путем насилия можно прийти к свету и добру.

Дама осушила глаза платочком, опустила вуаль, попрощалась и пошла к двери, так и не ответив на вопросы Яши.

За время, пока ожидалась монаршая милость, в столице состоялся еще один громкий судебный процесс, он назывался «процесс пятидесяти», и до Яши дошли слухи: на этот раз подсудимые, все тоже участники хождения в народ, дали бой судьям, вели себя стойко, произносили смелые речи и ни от чего не отрекались. Многих подсудимых уводили в зал заседаний окружного суда из той же тюрьмы, где томился Яша, и некоторых он уже знал в лицо, даже по фамилиям. Приговор и по этому процессу был жестокий — каторга, ссылка в Сибирь и в другие «отдаленные места».

От арестантов Яша прознал: на процессе боевито показал себя рабочий той же фабрики, где работал Яша, — молодой ткач Петр Алексеев, смелую речь произнес и даже пригрозил царским притеснителям «мускулистой рукой рабочего люда», от которой «разлетится в прах ярмо деспотизма». Яша радовался, слыша про это от заключенных. Петра Алексеева он знал, не раз выполнял его поручения...

В тот самый майский день, когда окончательно определилось, что Яшу по милости государя Александра II отправят все-таки в монастырь, а не в сибирскую ссылку, на свидание с «сермягой» явилась в тюрьму

еще одна посетительница. Тоже принесла провизию и тоже прятала лицо под вуалеткой, но Яше не потребовалось долго гадать, кто перед ним: он узнал подругу Юлии. Это была Ольга, которая вместе с ней работала в сапожной артели. Оказалось, Ольга избежала в день демонстрации ареста, но должна была уехать в другой город, чтобы не попасть в лапы полиции. В артели обыск был, все там в сапожной перерыли вверх дном и закрыли ее совсем. А Юлия... Увы, Юлия тяжело больна.

— Лежит и сейчас, но уже не в больнице, а в Петропавловской крепости, — рассказывала Ольга и нехорошо, с надрывом кашляла. — Недавно только память к Юле вернулась. Едва живой осталась. А еще суд впереди.

— Жива, ну и слава богу, — произнес Яша и перекрестился. Ольга вдруг заметила в руках у него Евангелие. Смятение выразилось на ее исхудалом вытянутом лице.

— Яшенька, родной, в тебе уже начали живой дух убивать? Ты мужайся, голубчик, и не думай, что тебя все оставили, — возможности не было ни у кого из нас дать о себе знать. Защитника нам удалось нанять и, думаешь, это мало усилий стоило? Но ты... Я уже виделась с адвокатом и поняла его так, что ты молодцом держишься! Но зачем ты за Евангелие взялся?

— Помаленечку разбираюсь, — сказал он. — С богом разговариваю. Один на один. Стихи Некрасовские ему читаю...

— Господи помилуй, Яшенька, ты болен?

— Не! Я здоров, ей-богу, то есть у бога я спрашиваю: за великое дело любви, — как он это понимает? По Некрасову? Вот и разбираемся, разговариваем. Я у него, у всевышнего, спрашиваю: может он сделать так, чтоб хорошо жили не те, кто праздно болтает и руки в крови обагрят, а те, которые из мира погиба-

ющих за народ стоят? Я у него спрашиваю, у бога, он тоже стоит за великое дело любви или не желает? Только не по-церковному, а как мы это понимаем, скажем, вы да Юлия и другие? За что ее так избили? Бог мог бы мне на это ответить?

— Ну, знаешь, Яшенька, — стала наконец приходить в себя Ольга. — Ты было страшно напугал меня! Миленький, дай я тебя расцелую!

Прощаясь с ним, улучила момент и шепотом сказала:

— В булке, что я принесла тебе, есть адреса: запомни их и уничтожь записку. Пиши из монастыря и держись, да, держись, Яшенька, стой за великое дело любви крепко!

2

Время шло, а Яша все еще находился в предварилке. Наступил июнь. Все, кажется, было готово к отправке Яши в монастырь, а дело тянулось. Уже был определен по указанию святейшего Синода и пункт назначения: Спасо-Каменный Белавинский монастырь, что лежит севернее Вологды. Взять узника да этапом и отправлять. А о Яше, казалось, напрочь забыли.

Ольга еще раз приходила и вдруг пропала. Омрачил Яшу слух: много новых арестов в столице, притеснения усиливаются. И в революционной среде Питера все больше тает, уменьшается круг тех людей, которые могут знать Яшу и помнить о нем. Один за другим попадали за решетку его бывшие знакомцы, уволили многих «смутьянов» с фабрики Торнтон, и там теперь тоже мало кто помнил Яшку Потапова.

На прогулках по тюремному двору он иногда встречал Боголюбова, оказывается, и его тут все держат, не спешат в сенате с ответом на его кассационную жалобу; казалось, и о нем забыли.

Оставалось скрепя сердце ждать, а пока мастеров-

вать, когда попадалась работа, и почитывать понемногу те книги, которые ему приносил сутулый.

Подавать жалобы на решение государя не имело смысла, но в душе Яша не мог с этим смириться и не годовал... Целых пять лет оставаться под «черной шапкой»! Не раз вспоминал Яша те слова, которые слышал от Юлии в сапожной мастерской в ночь перед демонстрацией: «Бывает, когда надо оказаться сильнее своего времени», и не раз говорил себе: «Ну и держись!» Вспоминал Яша и письмо, которое он написал в ту памятную ночь... Жаль, что пришлось его порвать, — мысли там были правильные, верные, а особенно та, что рабочий человек должен твердо стоять за народ и не дрейфить ни перед чем.

— На том и стоять! — Яша говорил себе и такие слова.

Жалоб на затяжку с отправкой в монастырь он тоже не подавал, но как-то раз не выдержал и, когда главный смотритель тюрьмы делал обход камер, спросил у него:

— А скоро меня отправят?

Смотритель — теперь Яша знал, что он полковник и по фамилии Федоров, — усмехнулся и ответил:

— А у тебя что, терпения уже нет? В келию, в блошницу тянет?

Яше потом сказали заключенные:

— Он не Курнеев! Вот Курнеев, его помощник, пес каких свет не видывал. Плохо, что Федоров в отпуск уезжает. Курнеев нам устроит баню.

Майора Курнеева все боялись и говорили, сам Федоров его недолюбливает за свирепость.

В средних числах июля Федоров уехал в отпуск, и тут Курнеев действительно устроил «баню». Побежал в градоначальство к генералу Трепову, наябедничал насчет «послаблений», допущенных Федоровым. Трепов, как градоначальник, считался ответственным за состо-

яние тюрем Петербурга и не замедлил явиться в предварилку с визитом.

Было часов девять утра, когда генерал показался во дворе тюрьмы. Узники бросились к окнам, переполошились все камеры. Засуетились надзиратели, стражники, вся тюремная прислуга — шутка ли! Сам его превосходительство Трепов ходит по двору и что-то выговаривает Курнееву. В «загонах» (особых отгородках) в это время прогуливались заключенные.

И должен был тут попасться на глаза генералу Архип Боголюбов. Курнеев, наверно, указал на него Трепову, и тот сразу вспомнил весь разговор о «мошенниках и девках» у графа Палена в день демонстрации у Казанского собора. Вот он каков, бунтовщик, виновник всего беспорядка, да еще схваченный с револьвером в кармане! Трепов знал, чем был больше всего обеспокоен государь, — сопротивлением властям, да еще целой толпою, как и было тогда на площади. Вспомнилось и то, как граф Пален кричал: «Пороть их, пороть, пороть!» И без того полнокровный, краснолицый, Трепов от приступа злобы весь запылал, и произошла такая сцена:

Г е н е р а л Т р е п о в (обращаясь к Курнееву). Это почему? Кто допустил? (Он показал на Боголюбова, а тот как раз проходил по загону мимо, беседуя о чем-то с другим узником.) Беспорядок! Не имеет права осужденный ходить вдвоем с кем-то! Эй, ты!

Боголюбов остановился, подошел, но шапки не снял.

М а й о р К у р н е е в. Он без разрешения, ваше-с превосходительство-с. Раз в одиночке сидит, то и в одиночку на прогулке должен, а не с кем-то-с!

Т р е п о в (негодует, его трясет от одного вида «мошенника»). Так почему же, спрашивается, они вдвоем?

Б о г о л ю б о в (решил объяснить, а лучше молчал бы). Мой суд уже был, стало быть, имею право общаться на прогулке с другими...

Трепов (зычно, на весь двор). Я не тебя спрашиваю! Разве я к тебе обращаюсь? К тебе? Молчать! (Повернулся к Курнееву.) Взять его в карцер! Сейчас же посадить на хлеб и воду! И почему шапки не снял? Долой шапку!

Генерал в бешенстве замахнулся и сам сбил тяжелой рукой с головы Боголюбова шапку. И тут же приказал майору Курнееву схватить и наказать Боголюбова за непокорство «посредством розог», то есть высечь. И тотчас из всех окон сквозь решетки раздался возмущенный крик узников, видевших, как Трепов ударил Боголюбова, и слышавших дикий приказ генерала:

— Палач! Мерзавец! Негодяй! За что человека ударил! Подлый Ярыга! За что велел взрослого человека пороть? Изверг!..

Градоначальнику даже кричали: «Вон отсюда!» В камерах стали стучать всем, что попадалось под руку, обломки разбитых узниками табуреток полетели свего двор на Трепова и Курнеева. Вся тюрьма взбунтовалась. Истошный вопль потряс все шесть этажей, перенаселенных арестантами, предварилки.

— За что хотят обесчестить человека? Позор насильникам!..

Боголюбова все же втащили на галерею второго этажа тюрьмы и там выпороли березовыми розгами. А кроме него, были жестоко избиты и брошены в карцеры десятки других узников. Стражники врывались в камеры, где не прекращалось буйство заключенных, и колотили их кулаками, прикладами ружей, грозили убить на месте.

Яша все это видел и тоже побуйствовал. Табуретку разбил на куски и покидал их сверху в Трепова. Бросил в генерала и Евангелие. Книга рассыпалась белыми листами по двору. Все, что можно было разбить — даже стекла, — он разбил и метнул вниз. И за все это целых десять дней его продержали в тюремном карцере...



5077

Был ненастный день начала ноября, когда Яшу Потапова отправляли в монастырь под Вологду.

Теперь он уже рад был, что меняется его местопребывание; осточертела камера и хотелось скорее на приволье; как ни худо — это он ясно представлял себе — жить за монастырской стеной под строгим присмотром духовного начальства, все же там... «Там видно будет», — говорил себе Яша. Не станут же его на цепи держать или в кандалах. И как ни высока монастырская стена, можно авось при благоприятном случае и перемахнуть через нее и... был таков, ищи ветра в поле.

В предварилке после того страшного дня, когда Трепов навестил ее и по его приказу был опозорен Боголюбов, придирки к узникам усилились, а майора Курнеева после драмы с Боголюбовым вскоре убрали из предварилки; но не понизили, а, наоборот, даже повысили по службе: генерал Трепов взял его к себе в градоначальство личным телохранителем. По требованию Трепова тюремную прислугу «подтянули», некоторых уволили совсем. Исчез еще до начала осени и сутулый, куда-то, сказывали, его «поперли», в инвалиды, что ли, перевели.

Боголюбова после порки увезли в другую тюрьму, и след его вскоре потерялся...

В столице, по настоящему требованию Александра II, все усиливались гонение и кары за «вредное направление» умов и «возбуждение» народа «против богом данной самодержавной власти». С октября в окружном суде шел новый, уже третий за год, процесс — самый многочисленный по количеству подсудимых. За хождение в народ судили 193 человека. в большинстве молодых, и среди них тоже было немало девушек.

Нет ли Юлии среди них? Ничего не смог Яша узнать, как ни старался. А что с Ольгой, почему она пропала? Это тоже оставалось тайной для Яши. А спросить

было не у кого; прежде через сутулого удавалось хоть что-то прознавать, теперь и эта лазейка закрылась.

Ну и скорее прочь, прочь отсюда!..

«Сбегу, из монастыря сбегу, — говорил себе Яша, покидая камеру, где провел почти около года. — Сбегу и вернусь в Питер... И Юлию выручу, найду, как помочь ей. Найду товарищей по фабрике, найду того, кто речь держал тогда на площади, свяжусь с организацией... добьюсь своего!»

Появилась цель, и уходил Яша в этап на Вологду почти радостный, хотя чувствовал — впереди, в тюрьме духовной, его ждут испытания, быть может, даже более трудные, чем те, которые он вынес в здешней тюрьме.

Тюрьма духовная — это ему самому пришло в голову; он заметно повзрослел за последний год.

Выйдя за ворота предварилки, он жадно, всей грудью, глотнул осенний воздух и, сам того не замечая, непривычно растянул губы в улыбке.

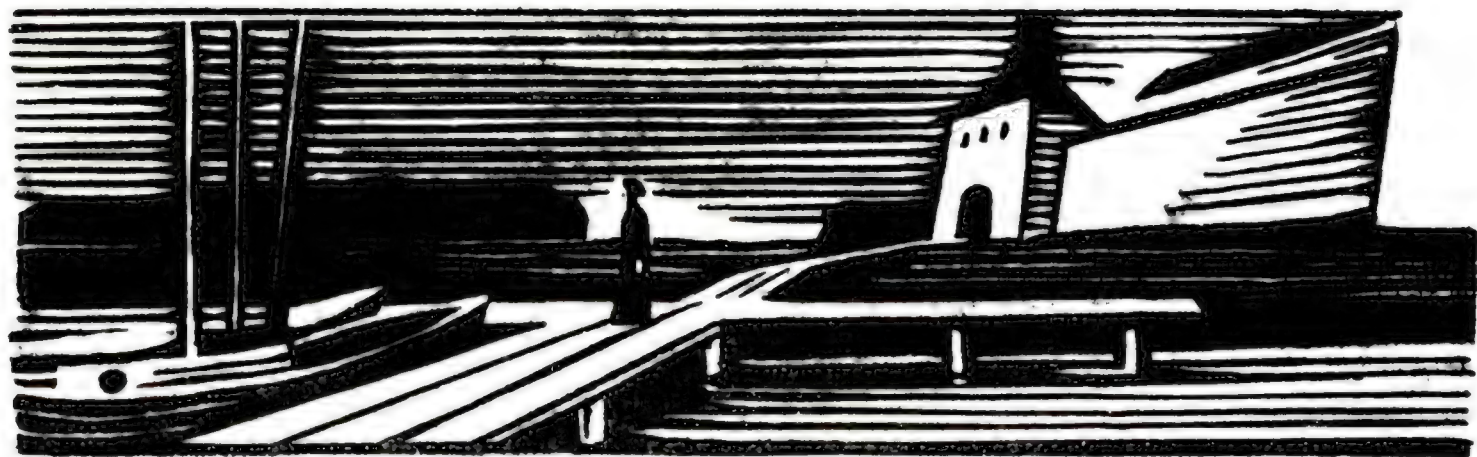
— Ты чего, малый, улыбаешься-то? — спросил солдат-конвоир. — Ведь не знаешь еще, что тебя ждет?

— Там, поглядим, посмотрим, — отозвался Яша.

— Сказать тебе одну поговорку? Не донесешь? Смелого, говорится в этой поговорке, ищи в тюрьме, а глупого — в полах. Знай вот и зря не радуйся, брат!

Резкий порывистый ветер свистел в уже голых деревьях, и над миром сеялся холодный дождик, закрывая серой мглой все вокруг, когда Яша дней пять спустя очутился за толстыми стенами Белавинского монастыря, что на острове Кубенского озера. Под стражей двух солдат его ввели в монастырские ворота, водворили в крошечную келью, и в тот же день настоятель отдал Яшу под бдительный надзор духовного наставника, старого монаха Гермогена.

Белавинский монастырь назывался еще Спасо-Каменной Преображенской пустыней и входил в ведение Вологодской епархии.



Глава пятая ОПАСНЫЙ ПОСТОЯЛЕЦ

1

Месяца через два после отправки Яши Потапова в монастырь тайной агентуре III отделения стало известно: от Потапова в Петербург пришло письмо, которое, судя по корявым каракулям, написано им самим и адресовано студенту Медико-хирургической академии некоему Никольскому. Письмо охранка перехватила, и в одно январское утро нового 1878 года оно легло на стол начальника канцелярии III отделения генерала Кириллова.

Кириллов начал карьеру простым шпионом и в ту давнюю пору, по бедности, ходил обедать в дешевую греческую кухмистерскую на Невском, близ Аничкова моста; обед из порции печенки здесь стоил 15 копеек. Чтобы попасть в кухмистерскую, посетители спускались с улицы по ступенькам в мрачное подземелье, где все тонуло в табачном дыму и чаду. Ходили сюда харчиться студенты из неимущих семей, всякого рода горемыки, бродяги. Часами сиживал тут за столиками Кириллов, подслушивал, о чем говорят люди, и доносил III отделению в записках, которые начинались словами: «Имею

честь уведомить ваше высокоблагородие, что...» И так далее. В награду получал рубль, иногда — трешку.

За услуги охранке Кириллов мало-помалу преуспел, стал «вашим благородием», затем «вашим высокоблагородием» и, наконец, «вашим превосходительством» — генералом, в каковом чине сейчас состоял.

Уже седой, в почтенных годах, он отличался чрезвычайной энергией, порою сам предводительствовал при обысках и арестах. От многочисленных тайных осведомителей он получал донесения со всех концов страны. И теперь люди ему прислуживали, а не он им. Теперь он им давал рубли и трешки за старание.

Письмо Якова Потапова показывало, что и в монастыре с юным рабом божьим сладу нет и, несмотря на все меры монастырской братии, от настоятеля иеромонаха Афанасия до приставленного к Потапову старого инока Гермогена, непокорство принятого на исправление юнца пока не удастся сломить.

Шефом жандармов и начальником III отделения с недавнего времени стал один из приближенных царской свиты генерал-адъютант Мезенцев, правнук Суворова. В отличие от прадеда Мезенцев воинских доблестей не обнаруживал, зато в шпионстве и сыске на полицейском поприще показал немалую ретивость. Был начальником штаба жандармского корпуса, товарищем шефа жандармов, теперь царь доверил ему все дела III отделения «собственной его величества тайной канцелярии».

В кабинете у начальника Кириллов просидел все утро, докладывая о делах. Мезенцев внешне казался добряком, мягкие черты лица, светлые волосы, дымчато-сизые глаза, улыбающиеся, казалось, беспричинно. «Милый хищник», — говорили о нем в придворных кругах злые языки. Сейчас шеф жандармов был не в духе. Худощавое лицо улыбалось, а голос был раздраженный, резкий.

— Плохо у нас все поставлено, очень плохо, доро-

гой вы мой Павел Антонович! — высказывал Мезенцев свое неудовольствие старику и, множество раз приговаривая: «дорогой вы мой», «голубчик» и прочие ласковые словечки, разносил начальника своей канцелярии за допущенные им промахи. — В борьбе с вредным направлением умов, сказал мне вчера государь, все средства хороши, а мы миндальничаем со смутьянами, и даже господа сенаторы готовят, я слышал, мягкий приговор по новому процессу.

— Да, ваше высокопревосходительство, все это весьма прискорбно, — кивал Кириллов. — Из ста девяноста подсудимых (трое, как вы знаете, померли уже после начала процесса) судебные крючкотворы наши собираются девяносто человек оправдать и лишь двадцать восемь смутьянов отправить на каторгу.

— Не выйдет это, друг мой, — заметил, усмехаясь, Мезенцев. — У государя свои соображения на сей счет, и вчера он мне лично соизволил их высказать. Большинство из тех, кого сенаторы наметили оправдать, будут санкционированы к административной высылке.

— И поделом, — вставил Кириллов.

— Государь требует решительных мер противодействия пропаганде вредоносных идей в государстве, — продолжал Мезенцев, — а наш граф Пален, кстати говоря, тоже не слишком сему споспешествует, к сожалению. Эти суды, эта гласность, эта адвокатура, которой Пален с его новыми уставами судопроизводства на французский манер дает возможность выгораживать коноводов смуты, — все это, знаете, голубчик, уместно где угодно, только не у нас. И в этом я целиком схожусь с Треповым.

Кириллов все кивал. Да, ваше высокопревосходительство, именно так, ваше высокопревосходительство, нельзя с этим не согласиться.

В сравнении с Мезенцевым, этим лощеным царедворцем, Кириллов выглядел грубым и, казалось, даже

неотесанным мужиком, хоть и в генеральском мундире. Волчьего склада крупная голова, крошечные темные глазки, густые сросшиеся брови.

— Как бы Трепову не досталось, — сказал он со вздохом. — До сих пор идут разговоры, что милейший наш Федор Федорович допустил превышение власти в истории с Боголюбовым.

— Ну! — махнул рукой Мезенцев. — Мало ли что говорят! Был простой факт сечения розгами, и Пален прав, что одобрил это.

— Но, ваше высокопревосходительство, агенты нам доносят о нарастающем негодовании в кругах радикальной молодежи.

— Чем же возмущаются, не пойму?

— Ваше высокопревосходительство, ведь это первый случай, когда, с их точки зрения, борец за идеалы народные подвергся телесному наказанию. В революционных кружках, как доносят агенты, даже доходят до требования мщения Трепову...

— Что у вас еще? — перебил Мезенцев, пожимая плечами, что относилось, по-видимому, к последним словам Кириллова и выражало, что серьезного значения он им не придает. — Как там обстоит с Потаповым? — вдруг спросил Мезенцев. — Есть ли у вас сведения из монастыря?

— Вот! — удивленно задвигал бровями Кириллов. — А я как раз собирался сейчас кое-что доложить об этом.

— Государь, представьте, поинтересовался, вчера спрашивал, как себя тот ведет.

Кириллов показал перехваченное письмо Потапова. И вот что прочел Мезенцев, держа письмо на некотором расстоянии от себя, как держат какое-то насекомое:

«Не думайте, и не говорите промежду собой, будто я отрекся от своего и каюсь: этого нет и не будет, чего бы со мной ни делали. Инока из меня не сделают, хоть тресни, и отшельника тоже никаковского из меня греш-

ного не сотворят. Коли уж на то пошло, я бы скорее на архистратига согласился, с мечом, который на иконах...»

— Подумать только, каков мазурик! — удивился Мезенцев. — И откуда он про это знает, шельма?

— По суду проходил как безграмотный, — заметил Кириллов.

— А пишет.

— А пишет, — повторил за начальником Кириллов. — И почитайте дальше, еще не то пишет.

В письме Яши говорилось, что в монастыре его зачислили в разряд «трудников» и гоняют на работы — снег счищать с дорожек, а снега здесь выпадают ранние и обильные, а вокруг монастыря сугробы намело такие, что в них с головой потонешь, и потому пока о побеге думать рано, до весны придется потерпеть и ходить на работы. Обещают скоро перевести его в мастерские, там тепло да и лучше, чем в армяке на дворе трудиться, а другой одежды не дают: одну только скуфью выдали, а шапку отобрали, и хотя это монашеский убор, черт с ним, с непокрытой головой ходить не станешь.

«А еще, — писал Яша, — вызывал меня к себе его преподобие, называется отец иеромонах Афанасий, и поучал всякому благословию, и все разговоры начинаются тут со слова «благо», а братья как бараны, что им велят, то и делают».

— Негодяй, — возмущался Мезенцев, читая письмо. — Они там повозятся с ним, в монастыре. Малец, а уже закоснел в безверии, и все это от нигилистов идет, от всего вредного направления умов, с которыми никак не сладим.

В конце письма Яша просил прислать немного денег на подходящую для задуманного побега одежду.

«С острова этого Кубенского налегке далеко не убежишь, — писал Яша. — А до лета ждать в этом дантовом аду, боюсь, не вытерплю, летом я и в одной рубашке убеги бы».

— Глядите! И про Дантов ад знает! — развел руками Мезенцев. — Это кто же его так просветил?

— Да те же нигилисты, ваше высокопревосходительство, он долго в их кругах вертелся, ну и нахватался всякого.

Мезенцев дочитал: «Всем нашим низко кланяюсь и жду ответа, как соловей лета», поглядел на подпись, там значилось: «Ваш Сермяга», потом впери́л взгляд в Кириллова и, наверно, в этот момент подумал: «Да и ты, милый, из тех же нахватанных, только по другой дорожке пошел». А вслух Мезенцев произнес усмехаясь:

— Забавно! Сбежать хочет, чертенок этакий! Даже своего корреспондента завел и кличку конспиративную себе взял: «Сермяга». Скажите же на милость, Павел Антонович, мой дорогой, что вы предлагаете в ответ на это предпринять?

Тут заулыбался и Кириллов.

— Есть у меня что предложить, ваше высокопревосходительство. Эту цидульку по адресу не передавать, тем более студента Никольского не сегодня-завтра мы арестуем.

— Ну и в чем же ваше предложение?

— Берусь простым языком ответить от лица этого студента Потапову: так и так, дескать...

— Зачем же простым языком? Ведь сами говорите: этот Никольский студент.

— Да, оговорился, ваше высокопревосходительство, простите. Ответ пошлю такой: сиди там, дескать, и не думай о побеге, тем более о прибытии в Петербург. Ну и доводы будут изложены самые веские: идет, дескать, большой разгром антиправительственной пропаганды и лучше бы ты... то есть он, Потапов этот, оставался подольше в монастыре. И вообще, напишу — в революционных кружках растет разочарование и в обществе уже нет того сочувствия, которое эти противники режима прежде встречали...

— Ну что ж, — одобрительно потряс головой Мезенцев, — не возражаю. Но разочарования, увы, пока нет. Желаемое выдаем за сущее. Милый наш писатель Тургенев, оказывается, плакал на предыдущем «процессе 50-ти», зря ему билет в здание суда дали. Герцен, если помните, в одной своей статье называл нашу Россию царством мглы, молчаливого замирания, гибели без вести, мучений с тряпкой во рту. А этого ведь нет на самом деле! К сожалению, наши смутьяны напролом идут, ничего не боятся! Даже Потапов — мальчишка, а глядите, что себе позволяет! Не уймешь его!

— Уйдем, — уверенно сказал Кириллов. — Я ему такое напишу, что затрясется весь и бегать из монастыря не станет. Я ему, если позволите, ваше высокопревосходительство, похожие такие слова Герцена приведу: так и так, мол, сколько с Россией ни борись...

— Незачем вам с мальчишкой в серьезные разговоры вступать, — наставительно сказал шеф жандармов. — Вы многоопытный человек, и не мне учить вас, дорогой мой, но на вашем месте я приказал бы письменно уведомить господина обер-прокурора святейшего Синода о непозволительном поведении Потапова, с тем чтобы наблюдение в монастыре за сим разбойником было усилено и вообще чтобы этого недостойного раба божьего держали там в ежовых рукавицах. У вас все?

— Все, ваше высокопревосходительство.

— Ну, тогда прощайте, — сказал Мезенцев и встал с кресла. — Скоро ко мне граф Пален пожалует. И придется ему делать внушение, хоть он и министр. Но государь требует...

Уходя, Кириллов незаметно оглянулся. Шеф жандармов уже перебирал какие-то бумаги у себя на столе и по-прежнему улыбался. «Милый хищник», — позволил себе подумать Кириллов, когда уже находился за дверью. «А ведь точно».

Доверчивый Яша... Он не знает, что делать, и сидит в глубоком раздумье на крутом берегу занесенного снегом озера. Примостился между двух больших валунов на опрокинутой монастырской лодке, здесь потише, не так ветрено и лучше думается.

В келье Яша никак не мог сосредоточиться, душно ему там, тесно, противно. В келье он чувствует себя почему-то хуже, чем было в предварилке, хотя там окно загораживала железная решетка, а здесь ее нет, запросто раскрывай окно и дыши.

А не дышалось. Словно и на обширном монастырском дворе застоялась духота, хотя лютовала свирепая северная зима с обычными здесь в январе пронзительными ветрами. Душно казалось Яше и в древнем соборе, и в белокаменном здании, где жили монахи, и в их трапезной, и в мастерских.

Только на берегу, у излюбленного места среди этих валунов, на виду у закованных в лед и заснеженных просторов окружающего монастырь озера, Яша приходил в себя.

Но долго ему не давали тут засиживаться: не успеет просвежиться, подумать кое о чем, как уже спешит сюда в переполохе монах Гермоген. Несется, подхватив рукой обе полы подрясника, трясет бородкой, зовет:

— Ты где запропал, нечистый дух?

А подойдя ближе, опустит затрепанные полы своего длиннющего подрясника, возьмется рукой за сердце и в бессилии долго хватает беззубым ртом воздух.

— Я за тебя головой своей отвечаю, а ты как себя ведешь, архибестия ты эдакая! — начинает Гермоген, отдышавшись, отчитывать Яшу. — Ах ты, архиплут! Несчастье мне с тобой, и только!

Он требует, чтобы Яша шел к себе в келью, иначе донесет настоятелю о его неблагодетельном поведении.

— А что мне сделают, — хмурится Яша. — Ведь уже кончено рабочее время, и я отработал свое. Должен же я отдохнуть!

— Отдыхать положено в молитвах, в чтении книг боговдохновенных отцов церкви. Ты вот пообедал — и сюда, и пищи духовной не приемлешь никакой! Ну, подымайся, идем!

Яша знает — старый монах не отстанет, да и вечер скоро, день уже меркнет, и послушно встает с днища лодки, но в душе у Яши все кипит — не дадут подумать!..

— Сегодня мне сказано закон божий с тобой проходить, — сообщает Гермоген о новом указании настоятеля. — Ты ведь не знаешь ничего, хотя и требуешь книг себе, и даже письма пописываешь.

— Ну это мое дело, отец...

— Не отец я, уж сколько раз тебе сказано: отец — это священнослужитель монашеский, скажем, иеромонах, а я простой инок, брат.

Они идут по монастырскому двору, и в пути Гермоген продолжает объяснять, какие бывают монашеские чины. Яша слышит это не в первый раз и, вовсе не дразня старика, в самом деле никак не возьмет в толк, отчего монаха преклонных лет нельзя назвать отцом, а настоятеля иеромонаха Афанасия — можно, хотя тот помоложе годами и все зубы сохранил в целости.

— В рот ты ему глядишь, что ли? — сердится Гермоген. — Он и так тобою недоволен. Ты братию будоражишь своими разговорами про политику и непотребными вопросными словами. Нельзя это!

Яша добродушно ухмыляется.

— А как же не спрашивать, когда непонятно мне многое.

— У меня спрашивай, а с братией не води разговоров. Ты зачем про святейший Синод спрашивал, да выражал еще какие-то свои сомнения!

— Это насчет обер-прокурора? Ну, спрашивал, а что? Как может при святом таком обществе судебный чин быть? Синод, священный, и вдруг прокурор!

— Синод не общество, бог с тобой, уши вянут, как тебя послушать! Давай, давай, заходи в обитель, познаемся до вечера.

Считается, что водворен сюда Яша на жительство, он постоялец здесь и «трудник», но в отличие от других добровольно живущих тут и работающих на монастырскую братию «трудников» Яша поселен в обитель принудительно и на целых пять лет, а другие «трудники» по весне уедут. Как узнал Яша, одни из них прибыли сюда на поклон святой обители, другие — замаливать грехи; есть и такие, которые, оказывается, сами обрekli себя на затворничество «по обещанию», то есть дали слово, что если беды и несчастья, грозящие им, не разразятся над их головой или их близких, то поедут на полгода или даже на целый год жить и трудиться на монастырь и возносить благодарные молитвы господу богу. И всю пашню и огороды монастырские обрабатывали задаром эти «трудники».

А жили многие «трудники» скудно, на хлебе и воде. И немало попадалось среди них больных, искалеченных горемык.

За недолгое свое пребывание в монастыре Яша совершил еще одно открытие: много несчастных людей на Руси, и не все те, кто попадает сюда, столь уж темны и плохи, как вначале он думал. Яша и старика Гермогена жалел — не человек, а живые мощи. Еле ноги передвигает.

Вот они уже обогнули древний трехглавый собор и подошли к монастырскому общежитию. Узкая дверь ведет в толстенное здание, здесь поселен Яша. Гермоген вталкивает Яшу в темные сени. Ступени скрипучей лестницы приходится на ощупь искать ногой. Потом оба долго идут длинным тесным коридором, где каждый шаг

гулко отдается в ушах, точно в заброшенном каменном подземелье. Яшу снова уже мучит духота. Она проникает даже в мозг и делает Яшу тупым, невосприимчивым ни к чему умственному. Еще одна узенькая дверь. Низкая притолока, высокий порог, в глаза бросаются почернелые крутые своды потолка, стиснутое давно не белеными стенами оконце. Уходя, Яша оставил обе створки открытыми настежь, чтоб келью просквозил морозный воздух. Но кто-то тут без него вошел да закрыл их.

— Вот ироды драповые, — возмущается Яша. — И каждый раз так, сами ко мне без спросу лезят, все переворачивают.

Внутри кельи все почти как было в тюремной камере: железная кровать с матрасом из давно перепрелой и уже истершейся соломы, столик, небольшая скамейка, в углу икона. Кряхтя и охая, Гермоген валится перед темным ликом богородицы на колени, и при этом старые кости монаха издают такой стук, что кажется — вот-вот вся иссохшая фигура его развалится. Стук этот отзывается в сердце Яши болью. Жаль старика. За ним столько лет монастырской жизни, что становится страшно. Нет, Яша этого долго не выдержит! А ему советуют из Питера пока не спешить.

Вот он о том и раздумывал на берегу, пока не помещал этот бедный старый брат.

Яша верил тому, что ему писали. Терпеть. Ждать. Но доколе?

3

Перед началом урока закона божьего (ни в какой школе Яша не учился и предмета такого совсем не знал) Гермоген «прогоняет» строптивного постояльца по вчерашнему уроку законоведения. Этим предметом старый монах занимается с Яшей уже больше недели — тоже по требованию настоятеля. Из подрясника своего

Гермоген достает засаленную книжечку «Общепонятное законоведение» и задает первый вопрос:

— Что такое закон и власть, скажи?

У Яши тотчас появляется на лице озорное выражение, и словно бы сам собою лихо приподнимается уже успевший отрасти русский хохолок на его голове. Заметив это, Гермоген начинает дергаться, кряхтеть, для него муки мученические занятия с Яшей, и он почти стонет:

— Беда с тобой, чистая беда, прости господи! Другим ученье впрок, а тебе все во вред!

Волнуется монах оттого, что Яшу бог весть куда заносит на уроках, и вместо того, чтобы отвечать как положено на вопросы, сам начинает их задавать. Вчера, например, вогнал в пот старика, спросив у него, знает ли он, что такое III отделение и каким целям в Российском государстве оно служит. Дело дошло до того, что, когда Яша сам стал отвечать на свой вопрос, Гермоген силой заткнул ему рот своей желтой ладонью и прохрипел, оглядываясь на дверь:

— Да тише ты, окаянный, про то не следует вслух говорить, понял? Ох, беда с тобой, и только, с ума сойдешь!..

Сейчас, ожидая от Яши новых «каверз», Гермоген беспокойно ерзает на скамье. Яша, сидя рядом на той же скамье, ощущает, как подрагивает тощее тело монаха. Опять нахлынет волна жалости к старику, и Яша в порыве истого благородства решает сегодня не донимать его особенно, а только слегка. И потому отвечает почти серьезно, как положено ученику:

— Закон... так... и власть... Это, спрашивается, что? Это — сила, да еще какая. От нее никуда не ден...

— По книге отвечай — не дурачься!

— А что в книге? То же самое...

Гермоген в раздражении берется объяснять все Яше по книге, но память у него давно ослабла, и он начинает читать со страницы нараспев, будто псалмы:

— «Всякая страна нужда-а-а-ается в порядке. Особенно же, — глаза у монаха влажнеют от напряжения, и он смахивает набегающие слезы резким встряхиванием головы, — особенно же, — повторяет старик с ударением, — необходим порядок для страны обширной, вроде нашей». — Тут Гермоген поднимает на Яшу свои большие страдальческие глаза. — Так или не так?

— Так, — кивает Яша. — Только дали бы мне самому эту книжечку почитать.

— Не могу. Разрешение отца настоятеля требуется.

— Ну, скажите ему — я требую.

— Господи! — вырывается тяжкий вздох у монаха. — Нет в тебе уважения никакого! И как ты такой вырос? Аки трава сорная.

— Аки. Аки-паки, — бормочет Яша, уже настраиваясь на воинственный лад. — А дозвольте спросить, батюшка, отчего все церковные книги написаны не по-нашенски?

— Не по-каковски? Бог с тобой, юноша! — в ужасе отмахивается обеими руками Гермоген. — Ты что? Как не по-нашему?

— А так. «Аки», «аще», «игде», «елико», «еже», «аз есмь», «дондеже» и прочие таковые слова, вроде там: «И расточилися врази его». Какие же «врази»? Это, надо понимать, «враги»? Почему ж так попросту не сказать, чтоб народ понимал?

Яша уже завелся и не дает рта раскрыть Гермогену.

— Вот и спрашивается, зачем такого туману напускать? Для чего? Наверно, и сам отец-иеромонах господин настоятель не ответит, а то я бы у него спросил!..

Но старый монах успел взять себя в руки: подавил, не дал сатанинским чувствам возмущения и гнева обуять его, ибо что за монах, не умеющий вытерпеть хулу? Для монаха все — чем хуже, тем лучше. И, смиренно бормоча какие-то непонятные слова, Гермоген дает Яше выговориться до конца.

А Яша не прочь. Собеседников у него тут мало, с мо-

настырской братией ему не дают общаться, с «трудниками» и «годовиками» тоже, а тянет, так тянет к человеческой близости и теплоте.

— Хотите, скажу я вам, уважаемый брат — отец мой, по-настоящему нашенское и каждой буквочкой понятное, это знаете что? — спрашивает Яша и начинает читать крепко полюбившиеся ему стихи Некрасова про «великое дело любви»; и, еще не дойдя до конца знаменитого четверостишия, Яша чувствует, как тощее тело старого монаха затряслось.

В келье уже полумгла, надвигаются сумерки. Яша зажигает спичкой на столе «монашку» — поставленный на медный пятак оплывший огарок свечи и при колеблющемся свете приглядывается к лицу монаха. Глаз не видно, одни темные впадины, щек тоже словно нет — под скулами два углубления, не видать и губ — старик вобрал их в рот и наглухо зажал, сидит молчит и только длинным своим носом подает признаки жизни, часто шмыгает; и странно Яше: что с Гермогеном? Становится не по себе.

— Это я вам стихи Некрасова читал, вы их, должно, не знаете. Хорошие стихи.

Старик задвигался наконец. Вытирает платком глаза, нос, зачем-то еще и шею, тяжело вздыхает и произносит тихо:

— Помер он, Некрасов, царствие ему небесное, уже и похороны в Питере были, до нашей братии дошло оттуда.

Яшу так резануло по сердцу, что рвущийся крик: «Как помер?» — застревает в горле. Некрасов дорог Яше, весть о смерти любимого поэта не укладывается в голове.

— И когда же это он помер-то? Давно ли?

— В сем месяце, сынок, в январе погребен на Новодевичьем кладбище. Питер знаю, бывал и на том кладбище. Старое дворянское место захоронения.

— Погодите про кладбище, — в волнении обрывает Яша. — Когда весть-то пришла?

— Вчера, сынок, с почтой...

— А панихиду служили?

Гермоген отрицательно мотает головой, и снова старческие слезы растекаются из глазных впадин в стороны. Панихиды не было. Не было и не будет.

Яша срывается с места. Он готов бежать к иеромонаху Афанасию просить о панихиде по Некрасову. Но Гермоген приказывает сидеть. Настоятеля тревожить в неурочное время не полагается, да и никакими просьбами докучать ему не следует.

— Давай-ка позанимаемся лучше, еще немножко пройдемся по закону и власти, а потом к закону божьему перейдем, а то скоро в колокол ударят.

И, не ожидая, пока ученик его успокоится, Гермоген тянется с книжкой своей к свече, подслеповато щурится мокрыми глазами:

— «На огромном пространстве, занима-а-а-емом Российской империей и составляющем ее территорию... ее территорию... эм... проживает более ста миллионов людей. Все они... они... образуют обширное общество, именуемое государством. Но у каждого свои дела, желания, цели, средства. Каждый живет и действует по-своему. Но если бы каждый делал, что и как хочет, ни с кем не сообразуясь, то создался бы хаос...»

— Там написано «хаос», — поправляет Яша наставника. — И потом я уже прочел сам то, что дальше на странице.

— А ты не забегай вперед, — выговаривает монах Яше. — «Где же предписаны для каждого общие правила поведения, указаны права и обязанности? В законах. Законы суть те правила, издаваемые высшей государственной властью, которые обязательны для всех без исключения, и законы эти все должны знать и соблюдать».

Упрямый старик! Зачем мучает себя и читает про то, что Яша только вот сейчас уже прочел сам? Душно Яше, он рвет на себе ворот рубашки, он заплакал бы, но сердце уже закаменело, в висках стучит.

Что впустую говорить, надо действовать, бороться, не страшась ничего! Не может так оставаться! Будь у Яши возможность — хоть малейшая, — он бы стрелой полетел в Питер и, несмотря на все пережитое со дня памятной демонстрации у Казанского собора, со всем пылом опять стал бы помогать революционной борьбе против притеснителей и мучителей народа. Самым светлым, лучшим днем своей жизни считал Яша тот декабрьский день, когда он взлетел над толпой демонстрантов с красным стягом!

Но нет у него возможности пуститься в Питер, не велит ему студент Никольский, советует ждать! А доколе? Нашло тут на Яшу такое, что он заскрипел зубами, и звук этот заставил Гермогена оторваться от своей книги.

— Ты чего, милый?

— А ничего, — ответил Яша вдруг охрипшим голосом и припал светлой головой к столу.

Гермоген повздыхал, закрыл книжку.

— Юноша! — Старый монах положил ладонь на плечо Яши и поразился каменной твердости его застывшего тела. — Ты не ропщи. Ну, помолись за упокой грешной души Некрасова. А к настоятелю нашему не смей ходить. Ты, не дай господь, такое скажешь, что и до скандала может дойти!

— И пойду, — произнес Яша глухо, еще не поднимая головы. — И скажу... Я скажу, что это такое есть закон божий? За великое дело любви стоять — вот какой должен быть для всех закон!

И вдруг, резко выпрямившись, Яша с такой силой стукнул кулаком по столу, что свеча слетает с пятака и гаснет. Но крикнуть то, что хотелось Яше, он не успел: на звоннице собора заблаговестили — ударили в колокол.

— Человек слаб и смертен, — бормочет Гермоген. — Человек не железо, он немощен и всяческим грехам подвержен. Так и живи в смирении, в кротости, уйми свою гордыню-то.

— Нет! — наконец прорывается голос у Яши. Он потирает заболевший кулак. — Человек может и крепче железа быть, крепче!..

Гермоген уже встал со скамьи. Чтобы не вызвать новой вспышки ярости в юноше, монах молча прячет книгу в карман. Покидает келью без Яши, даже не зовет его с собой в церковь. Он знает: лучше не звать.

И Яша остается один в темноте.

4

События в императорской столице меж тем следовали одно за другим. История сохранила точные даты, по ним можно установить ход тех событий, а они так переплелись тесно с жизнью Яши Потапова, что невозможно обойти их.

23 января нового, 1878 года особое присутствие Сена-та объявило свой приговор по «процессу 193-х». Волю самодержца судьи уважили: приговор был строг. В столице в тот день бушевала пурга, вечером в Александринском театре давала концерт певица Елизавета Лавровская — любимица петербургской публики. В партере в первых рядах сидел генерал Трепов с супругой, недалеко в боковой ложе выделялась лобастая голова Кони; было известно, что он большой любитель музыки и знаток искусства. С завтрашнего дня Кони предстояло вступить в новую должность: он ушел от Палена и назначен председателем окружного суда. Теперь Анатолий Федорович будет судить воров, грабителей, шулеров и другую нечисть, которой развелось в столице немало. И Кони дал себе слово — вести уголовные дела так, чтобы оправдать известную пословицу: «Тот, кто лишь

справедлив, — жесток». Да, завтра для него начнется новая страница жизни. В качестве судьи, надеялся Кони, он сможет отстаивать правду и справедливость, не кривя душой и без лакейской оглядки на повеления свыше.

Певице в этот вечер горячо аплодировали, галерка ее особенно любила. В память умершего Некрасова Лавровская спела посвященную ему песню. Кстати, тут следовало бы сообщить: в день похорон знаменитого поэта на Новодевичьем кладбище филеры видели того самого студента, который произнес речь на Казанской площади больше года назад. При погребении Некрасова он даже осмелился произнести речь. Схватить Плеханова — это был он — снова не удалось, за что Кириллову и чинам столичной полиции сделали внушение.

Утро 24 января ознаменовалось новым событием, взбудоражившим весь Петербург. По городу вдруг разнеслась весть: некая молодая особа по фамилии Козлова явилась на прием к Трепову (он принимал посетителей у себя в здании градоначальства) и в момент, когда генерал читал ее прошение, выстрелила в него. Ее повалили, избили, отобрали револьвер. Майор Курнеев в бешенстве задушил бы ее, но ему не дали этого сделать, иначе не оказалось бы кого судить.

В то же утро государь император навестил Трепова на его квартире в доме, где и прогремел выстрел. Государь постоял у постели раненого, тот страдал, но уже было ясно — при таком могучем здоровье старик выживет.

В тот самый день Кони принял дела в окружном суде...

На следующий день шеф жандармов Мезенцев, вспомнив свой недавний разговор с Кирилловым, вызвал его к себе и сказал:

— А вы были правы, оказывается, дорогой мой друг. Вы это верно сумели предсказать, месть Трепову состоя-

лась. Уже установлено: она стреляла в него за Боголюбова.

Но Кириллов все это уже и сам знал. Больше того — он знал и то, что Козлова — не Козлова, а Вера Ивановна Засулич, дочь покойного отставного капитана.

— Говорят, причина тут чисто романтическая, — сказал Мезенцев. — Боголюбов был ее женихом, что ли.

— Нет, ваше высокопревосходительство, — ответил, торжествуя, Кириллов. — Он даже вовсе не был ей знаком. Она поступила так ради защиты поруганной чести революционера.

— Значит, и сама из них?

— Так точно, ваше высокопревосходительство! По наведенным справкам, в прошлом она уже успела посидеть в Петропавловской крепости.

Мезенцев был сейчас серьезен как никогда, обходился без улыбки. А Кириллов улыбался вовсю. Что? Верно ведь? — он этот выстрел предсказал! Как в воду глядел. И вот выстрел грянул. То-то!

И вдруг Мезенцев снова заулыбался. Ему пришла в голову спасительная идея.

— Вот что, друг мой! — сказал он Кириллову. — Распорядитесь, чтоб следствие и суд по этому делу велись, словно бы тут имел место обычный уголовный опус. Вам понятно? Будем считать, что... я предвижу, так именно пожелает государь, то есть высочайше выскажет то мнение, что с крамолой в государстве уже покончено, и хватит этих бурных процессов. А уголовный опус — это просто: никакой политики. И делом Засулич пусть займется обычная прокуратура, а затем мы все передадим на расправу суду присяжных, и пусть ее судит Кони в окружном суде. Без всяких «особых присутствий» Сената. Надоело это государю. Хватит!..

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, — отозвался Кириллов и наклонил голову в знак того, что хитроумный ход своего начальника он по достоинству

оценил. — А вот на эту бумагу требуется ваша резолюция — здесь о Потапове говорится, который в монастыре.

— А-а! — вспомнил Мезенцев и, взяв бумагу, составленную его помощником, размашисто подписал ее. В бумаге, адресованной святейшему Синоду, говорилось, что необходимо усилить надзор монастырских властей за Потаповым.

Миновали январские морозы и снегопады. Наступил февраль. И вот на 11-й день февраля Мезенцеву пришел ответ от обер-прокурора Синода. Тот извещал, что довел до сведения Вологодского епископа преосвященного Феодосия сведения, имеющиеся в III отделении относительно Потапова. В бумаге из Синода еще говорилось:

«По полученному ныне отзыву преосвященного Феодосия, настоятелю Спасо-Каменской Белавинской пустыни предписано, чтобы он усилил надзор за содержащимся в оной крестьянином Яковом Потаповым, приставил к нему днем и ночью надежных людей и вполне приспособил помещение к тому, чтобы лишить Потапова всякой возможности к побегу, особенно ночному, если бы он на него решился».

В этот же день Кириллов доложил шефу своему: следствие по делу Веры Засулич идет полным ходом, и разбираться оно будет в окружном суде именно как обычное уголовное. Засулич сама заявила, что ее выстрел — ответ на поругание Боголюбова, и дело ясно; можно ее судить, хотя Кони советует не торопиться.

— Откладывать ни в коем случае, — сказал Мезенцев. — Судить ее, и судить поскорее. Государь требует не тянуть с делом Засулич.

— На суд присяжных полагаться не опасно ли? — не столько спросил, сколько высказал свое сомнение Кириллов. — Как бы вдруг не оправдали ее?

— Да что вы, голубчик, бог с вами! — воскликнул Мезенцев. — Вы только плохое пророчите, мой друг!

— Но я исхожу из настроений в обществе, в низах,

которые, простите, мне ведомы лучше, чем вам. А настроения таковы, что все возможно. Даже в кругах светского общества идут разговоры в благоприятном для Засулич духе. Словом, в ней видят чуть ли не заступницу чести и достоинства человека, над которым надругался наш Трепов. А кроме того...

— Что кроме того? Голубчик, в последнее время вы стали все больше пугать меня своим... — Мезенцев чуть не сказал: «карканьем». — Что еще, говорите!

— Среди рабочих тоже усиливается тяга к насильственным действиям против власти. Недавно вот...

— Это пустяки все, — перебил Мезенцев, — что касается рабочих, то государь вовсе не придает им особого значения, это все те же крестьяне, и в их верноподданические чувства он верит.

— Но возьмите Потапова...

— Пусть его, — не стал слушать Мезенцев. — Пора забыть это имя.

В следующий момент шефа жандармов вдруг осеняет идея, и он спрашивает у Кириллова:

— Послушайте, а почему бы этому Потапову не дать стрекача из монастыря? Пусть сбежит.

— Зачем, ваше высокопревосходительство?

— Куда бы он делся? Сюда бы примчал. А вы бы за ним слежку установили. Таким путем можно было бы еще кое-кого выловить.

— Я это имел в виду, ваше высокопревосходительство, да из некоторых высших соображений отказался от подобной уловки.

Доводы Кириллова разумны. Государь император сделал красивый жест и проявил для всеобщего сведения особую свою высочайшую милость к Потапову: вместо Сибири велел отдать его в монастырь для исправления нравственности юного бунтаря и утверждения в правилах христианского и верноподданического долга. И если государь, его величество, сам соизволил так рас-

порядиться с верою в успех своего жеста доброй воли, то не следует его огорчать таким оборотом дела, при котором могут подумать, что он ошибся, а этого не может быть.

— Да это, пожалуй, резонно, — согласился Мезенцев. — После пяти лет мы этому юнцу еще набавим, я об этом позабочусь. Государь не может ошибаться!..

5

Как ни худо было Яше в Спасо-Каменской Белавинской пустыни, он жил здесь не за решеткой и мог свободно ходить куда хотел, хотя остров, где стоял монастырь, был невелик и ходить-то особенно было некуда. Почти рядом с белыми стенами — каменистый берег озера, опоясывающего остров. Озеро — большущее, вширь — верст до двадцати, в длину — до семидесяти.

Остров весь принадлежал монастырю. Сады и огороды начинались сразу за монастырской стеной, а дальше шла густо заросшая березой и елью полоса прибрежной земли, и вились по ней кривые дороги. Яша все эти дороги исходил, хотя ему и запрещалось строго-настро-го. Стычки из-за этого с монастырским начальством у него не прекращались. Да мало ли чего?

Гермоген по дряхлости ничего не мог поделывать с Яшей, не угнаться за ним, а выговоры настоятеля Яша пропускал мимо ушей, а то, бывало, еще и так огрызнется, что белобородый иеромонах в испуге зовет прислуживающих ему послушников поздравнее.

Того и гляди побьет еще!

— А почему вы по Некрасову панихиду не отслужили? — негодуя спрашивал Яша. — Не простится это вам, знайте! И раз вы меня тут насильно держите, то вы такой же насильник, как в Питере генерал Трепов!

— Пошел прочь, злодей! Ожесточенный бес! — топал ногами настоятель. — Я попрошу его преосвященство,

епископа Вологодского, чтобы в церквях в проповедях читалось о тебе как богохульнике-оскорбителе с указанием имени!

С наступлением лета хорошо стало и на самом острове: прошла, развеялась духота, по крайней мере, вне монастырских стен. Посидеть на берегу, подышать свежим воздухом, погреться на солнышке было несказанной радостью для Яши. Ему приятен был и прелый запах зеленеющих досок монастырской пристани. Отсюда уходили пароходы и небольшие парусники на тот дальний берег, оттуда они возвращались с новыми партиями богомольцев, но теперь Яша уже не стремился к общению с ними, да и сами богомольцы избегали его, напуганные монахами, а те рассказывали о нем бог весть что.

Одна богомолка из Вологды, горбатая, еще не старая, почему-то прониклась к Яше доверием и на пристани разговорилась с ним.

— Ой, сыночек, неужто и вправду ты человека зарезать можешь? На пароходе сказывали — ты кого-то зарезал!

— Кто сказывал?

— Из обслуги... Монах один. И как подъехали сюда, на тебя указал.

— Врут про меня все, тетенька!

Тронутый сочувствием горбатой богомолки, он рассказал о себе все. А потом его отчитывал и настоятель и Гермоген за якобы кощунственную пропаганду среди богомольцев и поклепы на монашескую обслугу монастырских пароходов.

Вот люди! А еще называются — духовные богоборцы.

Случай этот только усилил подозрительность Яши и скоро сказался на его переписке с Питером. Он уже не верил письмам неизвестного ему Никольского и написал в Питер по второму адресу, который ему еще в предварилке дала Ольга. А Никольскому писать совсем перестал.

Бежать он пока не решался, все надеялся — вот-вот придет весточка из Питера. Надзор за ним усилили — это он чувствовал. Настоятель окружил его оравой лазутчиков, и нередко, бродя по лесу, далеко от стен монастыря, Яша вдруг натыкался на рыскающего тут «брата» или быстроногого послушника. Увидит их Яша и нарочно, чтобы подразнить, пустится со всех ног в чащу и скроется там. Ищут его, ищут, найти не могут, а на ночь он как ни в чем не бывало явится в монастырь.

Встречает его Гермоген в трапезной и слезно, Христом-богом умоляет:

— Не делай ты самовольных отлучек, сын мой, не то изведусь я с тобой вконец. Я за твою душу головой ответствен, а ты... неисправим совсем!

— А я думаю, что в лесу делал? — лукаво ухмыляется Яша. — Я про закон и власть все обдумывал, про то самое, о чем мы с вами по книге занимаемся... А письма мне нет? Не приходила почта?

Почта была, а писем Яше все нет и нет. Беда, наверно, случилась в Питере; странным казалось, что и второй адрес не отвечал.

Ночью он лежал в своей келье и думал: может, та Засулич (слух о ее подвиге дошел и сюда, в монастырь), которая стреляла в Трепова, и есть Юлия? А вдруг? Так хотелось, чтоб это была она! Все геройское, что происходило на «процессе 50-ти» и еще происходившем при Яше «процессе 193-х», он был готов приписать участию Юлии, ее энергии. Но вообразить это можно было только, не беря в расчет ее пребывание в Петропавловской крепости, откуда не убежишь, и тяжелую болезнь, которая не так скоро проходит.

Но помечтать-то можно? И Яша мечтал. Уносился мыслями в Петербург и родную Казнаковку.

Если Засулич не Юлия, все равно героиня. Значит, немало таких и сколько их еще будет! Поднимается на-

род. Рабочие забастовки устраивают, а смелая речь на суде Петра Алексеева с той же фабрики Торнтон, где работал Яша, ходит по России в листовках, и рассказал о ней Яше под секретом рыбак, часто бывающий в Архангельске. О речи Алексеева Яша давно знал, но что она широко в народе распространяется, — про это ему доводилось слышать впервые, и он от души порадовался: живой голос смелого ткача продолжает звучать и сейчас. Ну и славно, «пролетариатство» должно крепко за него стоять, за великое дело любви!..

6

Келья Гермогена была рядом, и всю ночь за стеной слышались его побряхтывания и стоны. Под рассвет охи старика усилились, и Яша зашел к нему. В нос ударил затхлый воздух. В келье все было запущено, черно, убого. Старик, уже одетый, сидел на смятой постели. Вид у Гермогена был бледный. На столе Яша увидел чернильницу и тетрадь; ночью монах, должно, занимался сочинительством.

— Что с вами, отче?

— Нехорошо мне... Ох, нехорошо. Глаз не сомкнул, кости ломит. В баню бы... Сегодня какой день?

— Пятница, кажись.

— Ну, баня уже топится, поди. Соберусь... Помоги встать.

Выходя с Яшей из кельи, Гермоген потянулся к тетради, но так неловко, что та выскользнула из его рук и завалилась за стол, в темный захламленный угол. Яша хотел достать, но старик не дал трогать.

— Пушай... Ладно... Потом я ее сам.

Пришлось Яше проводить Гермогена до бревенчатой баньки. Она уже и верно топилась. На обратном пути Яша из жалости к старику решил прибрать хоть кое-как его неприглядное жилище. Тот обычно не позволял Яше

это делать. Недолго думая, Яша вооружился тряпкой и сначала протер запыленное и засиженное мухами окно, и, словно только и ожидая этого, в келью брызнул яркий свет мягкого летнего утра. Яша и форточку хотел открыть, чтобы проветрить келью, но не сумел, оказалось, форточка и обе створки окна забиты гвоздями. Потом Яша прибрал угол, куда завалилась тетрадь монаха. Что же такое сочиняет Гермоген?

Неужели стихи? Или историю монастыря пишет?

Из тетради, когда Яша поднимал ее, выпали какие-то листочки и конверт. Яша попыхтел, добираясь до них, зато Гермогену не придется последние силы тратить. Куда ему! Старику трудно нагнуться, а Яше это ни-почем.

Листочки исписаны мелким, но округлым почерком, на одном из них бросается в глаза подпись: «Ваша Аглая»... Странно, с какой же это женщиной может вести переписку монах? Яша заглядывает в адрес на конверте. И прочитывает, столбенея: «Якову Потапову, постояльцу Спасо-Каменной обители, в собственные руки». Штамп на конверте «Санкт-Петербург». У Яши холодеют руки, кровь рывком отхлывает от сердца.

Да, это не отданное ему письмо! Не дошедшая до него весточка! Второй адрес отозвался, оказывается, письмо из Питера... лежит у Гермогена.

В первую минуту Яша испытал не гнев, не возмущение, страшное горе заглушило в нем все другие чувства. Как могут люди так двоедушно поступать: призывают к смиреномудрию и кротости, а сами-то что делают! Несчастные! Даже, наверно, и не сознают, как сами себя уничижают, да еще самым худшим образом! Обитель считается святой. Где же эта святость?

Судорожным рывком Яша прячет письмо в карман — оно его! А прочесть — это потом, сейчас он не в состоянии, к голове прилила кровь, в глазах двоится, в них набирается и дрожит влага, и не разобрать мелкие

строки письма. Но зато в тетради крупный почерк и сделанные там рукой Гермогена записи удастся прочесть:

«Понедельник, 6 марта. Благодарение Господу, сей ночью почивал хорошо. Утром же сегодня, часу в первом пополудни получил и передал его преподобию отцу Афанасию письмо на имя моего подопечного постояльца, в каковом не советуют ему покидать обитель. И слава богу. Снял копию для передачи в Вологду его высокопреподобию преосвященному Феодосию, а писал оную копию раб божий инок Гермоген с повеления настоятеля нашего его преподобия отца-иеромонаха Афанасия».

«Среда, 17 апреля. Еще пришло оказиею почтовое письмо для Потапова, каковое послано из Санкт-Петербурга. Пишут ему то ж, и слава богу. Прошедшею ночью почивал плохо, болела поясница, а все равно трудился, елико мог, снимал копию для тою же цели и отсылки по принадлежности в Вологду».

В таком духе старательно были отмечены в тетради короткими записями все полученные Яшей письма из Питера.

Яша еще не пришел в себя, у него то перехватывает дух, то отпускает, а сердцу все равно больно, и оно сжимается еще сильнее, когда взгляд Яши падает на последнюю заметку в тетради:

«Четверг, 23 июля. Прискорбное событие, уже и женщина, какая-то греховодница, объявилась у моего Якова, написала ему из того же Санкт-Петербурга, но уже из другого адреса и в непотребном духе. Приказано снять и с этого копию, да не смог, вчера весь день и ночь до петухов маялся животом, а сегодня с утра тако же маюсь.

А в миру беспокойно все, видать, худо всем. Так в обители куда поспокойнее».

Значит, не успел монах, и копии с обнаруженного Яшей нового письма из Питера еще нет! Очень хорошо! Яша спешит к себе в келью, и вдруг на него нападает

слабость: ноги дрожат, не держат, и он валится на кровать. И, лежа, достает из кармана письмо.

«Милый Яшенька, спешу ответить на Ваше письмо, хотя лично не знаю вас, как и вы меня, по всей вероятности. Что сказать Вам?

Вы пишете, что трудно Вам, но кому сейчас не трудно, дорогой, кто в этом мире, и в особенности у нас в России, может сказать, что живет счастливо? Увы, глумление над человеческой личностью доведено у нас до совершенства, и мне хорошо понятно, как тяжело Вам терпеть удушающую затхлость монастырской жизни, с юных лет Вас лишили детства, юности, а теперь и свободы.

Но Россию нашу многострадальную ждет великое будущее, и ради нее, и ради этого прекрасного будущего вы совершили подвиг, за который Россия навсегда останется благодарной Вам, и не думайте, что Вы забыты. Просто поредели, очень поредели наши ряды, и как у Пушкина сказано: «Иных уж нет, а те далече». А еще из того же Пушкина добавлю: «О много, много рок отъял!» А смысл этих горьких слов Вам должен быть понятен.

Поверьте, помнят о Вас все, где бы ни находились. Открытость письма не позволяет мне сказать Вам больше, но знайте, Юлия о Вас помнит и жалеет безмерно и просит одно лишь передать: бесполезное, безрассудное бравирование опасностью не в традициях истинных борцов с плетями рабства и поступать надо сообразно с этим, понятно вам?

А находится Юлия сейчас в Трубецком бастионе Петропавловской крепости и писать Вы ей не должны, чтобы не усложнить и без того ее трудное положение, да и не передадут ей Ваше письмо, как и Вам — ее».

Подписано было письмо именем «Аглая». И кто бы это мог быть, Яша не знал. В конце еще был постскриптум: «Никольскому не пишите, он давно в «нетях», а

что это означает, я думаю, вы догадаетесь сами. Ваша А.»

И еще была одна приписка:

«На мой прежний адрес не пишите, я переменила его тотчас после Вашего письма. Не огорчайтесь и будьте мужчиной. При первой возможности снова свяжусь с вами, пришлю еще немного денег и дам знать о себе и Юлии».

Значит, в конверте были какие-то деньги, и, ясно, их отобрали. А как нужны были они сейчас Яше, как бы они емугодились! Ни гроша не было у него за душой.

В это утро Яша погоревал, как никогда еще прежде, — даже порыдал, но недолго; изорвал письмо и на «монашке» сжег его. Потом сел у окна и устремил воспаленный взгляд к небу. Там было так чисто, светло и свободно в то утро, как на земле не бывает...

7

Продолжим хронику удивительных событий того года.

Веру Ивановну Засулич судили в пасмурный мартовский день, вскоре после того, как настоятелю Белавинской пустыни было приказано усилить надзор над опасным постояльцем Потаповым. К вечеру того же мартовского дня судебный процесс Засулич окончился. Неожиданно для высших властей, не исключая и шефа жандармов Мезенцева, двенадцать присяжных заседателей оправдали девушку, и Кони тут же приказал ее освободить под восторженные крики «браво!» публики в зале суда. А на улице толпа подхватила Засулич на руки и в радостном возбуждении шла за каретой, пока не налетела конная полиция. Оказалось, царь приказал задержать Засулич. Произошла схватка, толпа заступилась за отважную девушку и помогла ей скрыться.

— Это скандал! Это чистая революция, на взгляд государя, — сообщил Мезенцев в тот день своему бывалому, все угадывающему наперед помощнику. — Его величество в полном расстройстве, и, конечно, дело тем не кончится. А Засулич, хотя в суде ее оправдали, все равно ждет каторга. Только бы изловить ее! Я дал слово, что все меры будут приняты. Надеюсь, вы уже распорядились?

— О да, — заверил шефа Кириллов. — Все поднято на ноги. Идут обыски и проверки по всей столице.

— Но вы снова оказались правы, — признал честно Мезенцев. — Что вы еще такое можете напророчить?

— Засулич не изловят...

— Типун вам на язык, — сердито произнес Мезенцев. — Что еще?

— Кони с поста своего слетит.

— Ну, это-то бесспорно, тут и гадать нечего, — согласился Мезенцев. — Пух и перья полетят еще кое с кого. И все? Кстати, Потапов как? Не сбежал?

— Нет. Он пока верит нашим подложным письмам и в побег не торопится, но продолжает причинять белавинскому настоятелю массу хлопот.

— Что еще у вас?

Старый сыщик как-то странно поглядел на своего начальника и молча откланялся. Мезенцев только пожал плечами.

В ближайшие месяцы все подтвердилось: Засулич не изловили, от судейства Кони избавились, а в начале августа шеф жандармов Мезенцев был среди бела дня убит ударом кинжала на людной улице столицы. Того, кто убил, не удалось схватить, но скоро стало известно — удар нанес ярый революционер-народник Кравчинский, и он же в листовке «Смерть за смерть» объяснил: его поступок есть ответ на жестокости царской власти и жандармерии.

Не это ли событие предчувствовал старый Кирил-

лов, когда странно посмотрел на своего шефа, тогда еще живого?

На должность шефа жандармов и начальника III отделения вступил генерал-адъютант Дрентельн, закаленный войсковой служака пятидесяти восьми лет. Нам, собственно, не было бы никакого дела до этого нового преследователя свободы в Российской империи, если бы судьба Якова Потапова не оказалась связанной с этим генералом.

В солнечный апрельский день уже наступившего 1879 года у нового шефа жандармов сидел обер-прокурор святейшего Синода — старик, донельзя худощавый, с лисьим личиком и слезящимися глазами. Он принес... Но не обойтись здесь без справки о Синоде. Это было в те времена учреждение особое и весьма влиятельное в делах государства. Все дела церковные и монастырские решались в Синоде, и была при нем своя прокуратура с обер-прокурором во главе. И вот на его имя недавно поступило от Вологодского епископа Феодосия тревожное сообщение о Потапове.

— В Сибирь его, в Сибирь, и подалее, — сказал Дрентельн, прочитав принесенное обер-прокурором письменное сообщение. — Другого выхода нет. В Сибирь, с содержанием в крепости, с работой в рудниках. Сегодня же буду докладывать государю.

— Вполне разделяю ваше мнение, уважаемый Александр Романович, и от лица Синода могу заверить — возражений против Сибири не будет. Случай вопиющий! Сему Потапову не место в святой обители, это видно из всего указанного в бумаге. Случай из ряда вон!

Голос у синодального старца дрожал — до того он негодовал, говоря о дерзостном поведении непокорного Потапова. Тотчас после его ухода Дрентельн вызвал к себе Кириллова.

— Прочтите это, Павел Антонович. Сейчас у меня

был обер-прокурор Синода и оставил. Дело действительно из ряда вон.

— Опять Потапов? — усмехнулся Кириллов. — Ну знаете, действительно!

Над Кирилловым, казалось, время не властно: вид у него был по-прежнему цветущий, он заметно пополнился, но причину этого некоторые объясняли тем, что после убийства Мезенцева стал носить под мундиром особый железный панцирь в виде жилета.

Вот что прочел предусмотрительный начальник жандармской канцелярии:

«Ныне, — сообщал в бумаге Вологодский владыка, — строитель * Белавинской пустыни иеромонах Афанасий рапортом от 14 марта сего года донес мне, что крестьянин Потапов:

1. Из обители почасту делает самовольные отлучки, неизвестно куда и зачем, и на справедливые со стороны строителя замечания отвечает только грубостью и даже не скрывает своего намерения уйти из-под надзора монастырского.

2. Нередко получают им, Потаповым, неизвестно откуда и от кого письма и посылки деньгами и вещами, и сам он ведет переписку неизвестно с кем.

3. Являясь к строителю часто безвременно, почти насильственно требует того, в чем удовлетворить нет ни малейшей возможности, а получив просимое, он почти всегда остается недоволен и недовольство свое выражает не одними только оскорбительными для строителя словами, но неоднократно высказывал свое намерение, при представившемся удобном случае, нанести ему побои.

4. Главное же, он нарушает спокойствие братии, стараясь между ней посеять раздоры и ссоры. Почему строитель просит моего ходатайства перед святейшим Синодом об удалении его, Потапова, из Белавинской

* Строитель — настоятель монастыря.

пустыни, так как в обители нет ни удобного помещения для удержания от побегов Потапова, ни лица для надзора за ним, между тем как присмотр за ним, по его буйному характеру, требуется не монастырский, а строгий полицейский».

— Однако! — произнес Кириллов и причмокнул языком, словно бы даже с чувством восхищения. — Смелый забияка, ничего не скажешь!

Кириллов не пользовался у нового начальника таким благоволением, как у прежнего шефа, и долгих бесед у них не бывало. Не присаживаясь, он выслушал приказ нового шефа:

— Павел Антонович! Распорядитесь, пожалуйста, чтоб с этим Потаповым было покончено. Его следует отправить в Сибирь на работы в рудниках, с содержанием в крепости.

— Будет исполнено, — ответил Кириллов. — Сегодня же прикажу составить соответствующие бумаги. Но советую предварительно поговорить с его императорским величеством.

— Вы думаете?

— Убежден вполне. Дело такое.

— Но пустячок же, дорогой мой! Мошка какая-то, муравей из кучи.

— Да, ваше высокопревосходительство, и тем не менее должен напомнить, что государь высочайше соизволил сам участвовать в решении участи этого муравья из кучи. Так что лучше доложить.

— Я предложу Якутию, и ничего другого, — сказал Дрентельн. — Туда его!..

— Якутию? — переспросил Кириллов. — Видите ли, Александр Романович, должен сказать...

— Ничего не надо говорить. Я спешу на прием к государю. Кстати, граф Пален подал в отставку.

— Уже знаю, — ответил Кириллов. — Это нетрудно было предвидеть. Но...

Дрентельн уехал в Царскосельский дворец, так и не дослушав Кириллова. И зря — Павел Антонович намеревался высказать веское соображение насчет Потапова. Предложение о переправке строптивного юнца из монастыря в Сибирь вряд ли будет одобрено царем. Его величество уже раз соизволил сказать, что не следует смешивать крестьянского сына с крамольниками из интеллигентной молодежи, и потому государь не станет отменять прежнее свое решение.

Единственный выход, подсказал бы Кириллов шефу, — это просто перевести Потапова в Соловки.

Тамошний монастырь тоже стоит на острове, но это не просто монастырь, а крепость, где есть особые «чуланы» — камеры с более надежными железными решетками, чем в иной тюрьме. Да Соловки и есть тюрьма — государева и с давних пор. Там перебывали в заключении многие сотни людей за всякие провинности, там и в цепях держат кого надо. И вместе с тем это богатейшая обитель, куда валом валят паломники-богомольцы, иные и живут там подолгу, и работают на братию. При Соловецкой обители есть и рота солдат для охраны узников. И Белое море, где находится этот монастырь, не Кубенское озеро.

Все эти соображения Кириллов и собирался изложить шефу, если бы тот захотел выслушать.

В конце дня Дрентельн снова вызвал к себе Кириллова и сообщил:

— Его величество посоветовал Соловки, на исправление, с содержанием в тюремном режиме. Таково решение!

Кириллов только крепко сжал зубы и склонил голову в знак благоговейного одобрения воли государя.

И немедленно заскрипели перья; писало III отделение, писал святейший Синод, писала Вологодская епархия — и все по поводу крамольного юнца.



Глава шестая КРАЙСВЕТНЫЙ ОСТРОВ

1

В Соловки Яша попал в июле того же 1879 года, но уже не постояльцем, а узником, подлежащим строжайшему надзору. Там его сразу поместили в одиночную камеру-«чулан» и стали содержать как арестанта, а таких здесь в «чуланах» — каменных клетушках — было немало и кроме Яши. Обслуживала и охраняла узников особая караульная команда. Под присмотром караульных солдат арестантов водили и на работы и в церковь. И благовест колоколов смешивался нередко со звоном цепей.

Не оставляя надежд на «исправление» Потапова, императорская и синодальная власть поручала настоятелю Соловецкой обители архимандриту Мелетию приложить особое старание «к исправлению испорченной нравственности оного», то есть Потапова.

И еще предписывалось его высокопреподобию Мелетию приставить к Потапову такого монаха, который, говорилось в бумаге, «наиболее способен строгостью своей жизни и сознательной твердостью своих убеждений и правил послужить Потапову примером к исправлению».

Приставили к Яше не просто монаха и не дряхлого беззубого старика, как было в Белавинском Спасо-Каменском монастыре, а дородного и еще крепкого иеромонаха с густой черной бородой, сизым носом и пропойным басом. Даже сзади по толстой красной шее видно было — это плотоядный человек, любящий попить и поесть до отвала. Подрясник сидел на его широких плечах словно воинский мундир, а скуфью он носил чуть сдвинутую набок и вид оттого имел лихой.

Звали его Паисием.

И скоро мы его увидим и услышим его разговор с подопечным монастырским узником, но прежде расскажем, что пережил Яша с того дня, когда совершил еще одно открытие в своей жизни: не всегда человечны даже те, кто сам угнетен. Могут возносить богу молитвы и писать доносы. Могут перехватывать чужие письма и деньги и говорить о милосердии и добропорядочности.

Неприятности начались для Яши с той минуты, когда Гермоген обнаружил пропажу письма от неизвестной особы из Питера. Впрочем, немало горестных переживаний было и у самого Гермогена, ему влетело от настоятеля так, что целых трое суток старик не поднимался с постели. А Яшу велели кормить в трапезной только хлебом и водой, и у монастырских ворот поставили сторожа, настрого приказав ему не выпускать Потапова за ворота.

Ах, вы так! Ну ладно же!

Тут Яша и вздыбился. И сладу с ним не стало уж никакого. Он ухитрялся перелезть через высокую ограду одним махом и потом с утра до ночи пропадал бог весть где. Вечером приносил с собой ворох грибов, ягод, каких-то съедобных трав и сам стряпал себе на кухне незатейливые блюда. И никто не догадывался, что в уединенном уголке острова Яша чинит давно заброшенный рассохшийся челн. Смолу где-то добывал и промазы-

вал днище. Сам весла выстругал, уключины пристроил и даже старый кусок брезента для паруса раздобыл.

Но кто-то из монахов забрел в это место и донес: Потапов к побегу готовится, и челн отобрали, да еще требовали у Яши дать ответ, где он этот почти исправный челн уворовал. Не верили, что сам Яша привел его в порядок своим собственным трудом.

Оставалось одно: как-то раздобыть денег и парохом податься на Вологду.

Яша стал мастерить свистульки, вырезывать игрушки из дерева, отделывать красивыми узорами палки-посохи для странников; те охотно покупали, пока не прознал об этом настоятель; и по запрету отца Афанасия у Яши перестали брать его поделки.

Тогда он попросился в кузню молотобойцем. Обетов даром трудиться на обитель, как другие, он не давал, он не «годовик» по обещанию и не «полугодовик».

Ему пообещали денег, но... обманули.

В июле среди бела дня в кузню зашли трое откуда-то прибывших солдат и силой поволокли Яшу к пристани... И больше он уже не вернулся в Спасо-Каменскую обитель.

2

Вот теперь можно перейти к разговору отца Паисия с Яшей.

Паисий (входя с толстой потрепанной книгой в камеру, куда заточен Яша). Ты где, прохиндей? Опять у окна стоишь? Слезь с табурета!

Яша (снова приходится ему, стоя на табурете, тянуться кверху, к окошку с решеткой). Я здесь, отче, на мир божий гляжу. А что, нельзя разве? Это, может, тоже за преступление считается?

Паисий (усаживается прямо на стол и кладет книгу рядом с собой). Ты языкат стал больно, как погляжу. Иди, я книгу тебе принес. Иди сюда.

Яша (остается на месте). Там воробушки.

Паисий. Поди сюда, тебе говорят!

Яша. За книгу спасибо. Почитаю... А про что она?

Паисий (подходит и резким движением вырывает из-под ног Яши табурет. Яша падает на каменный пол. Когда он поднимается, видна рассеченная до крови губа). Будешь слушаться, бесенок?

Яша. Это тоже для спасения души моей, отче?

Паисий. А ты не зли меня.

Яша. Мне солдат из охраны говорил, вас тут считают умным и опытным. А знаете? Простой монах Гермоген был лучше вас, хотя и доносы на меня писал, и деньги мои присвоил. А в Питере, когда я сидел в предварилке, был в надзирателях один сутулый такой человек. Так он тоже был добрее вас.

Паисий. А про тебя нам сверху донесено, что ты змееныш гадкий и опасный.

Яша. Я людей не обманывал, не обижал!

Паисий (с напускной кротостью). Ладно тебе препираться-то и дерзить! Ты лучше с губ кровь сотри и приведи себя в порядок. Сейчас сюда пожалует сам...

Яша (радостно). Вот хорошо! Отец настоятель зайдет? Я просил... Его Мелетий зовут?

Паисий (наставительно подняв палец). Архимандрит Мелетий, его высокопреподобие. Ты смотри, в его присутствии не дерзи, слышишь? Грешно это и нехорошо!

В сравнении с Паисием Яша выглядит пичугой, беленький, бледненький, по тощей фигурке судя — слабенький. Опять его остригли — еще где-то по пути. Сильно исхудал и извелся Яша за последнее время — под глазами синие круги, нос обострился и уже не глядит так вызывающе вверх, как прежде. Такой здоровяк, как, скажем, Паисий, мог бы свалить Яшу одним ударом кулака.

Но иеромонаха, похоже, не трогает отчаянная зади-

ристость молодого узника. Яша весь в его власти, и Паисий, как видно, еще надеется с ним совладать. Так бывает терпелив укротитель со зверем, которого надо подчинить своей воле. Только хлыста нет в руке Паисия, но у него в запасе другие средства, и среди них духовный кнут.

Три-четыре раза в неделю он является сюда в камеру и ведет с Яшей душеспасительные беседы. И почти всегда застаёт узника стоящим на табурете у окошка. Ухватится паренек обеими руками за витые железные прутья решетки и смотрит вдаль, там море и небо, синь бескрайняя, а вблизи видна лишь конусообразная крыша соседней каменной башни. Стены тут почти в три аршина, а то и более, о побеге и помыслить нельзя. И Паисий уже предупреждал об этом Яшу.

Здесь, в Соловках, не то, что было в Белавинской Спасо-Каменной обители. Соловецкий монастырь — перворазрядный, это Паисий тоже разъяснил Яше. Оттого правит им архимандрит, а не игумен (средний чин для настоятеля) или строитель (чин самый низший), как в том монастыре, из которого Яшу привезли сюда.

В гудящем голосе Паисия даже чувствовалась некая ирония, когда он говорил о Белавинской обители. То-де заурядный монастырь, хотя и тоже древний, даже древнее Соловков, а Соловки — это Соловки, кто разберется в истории здешнего монастыря, поймет, какую роль он сыграл в прошлом и какое место занимает сейчас среди многих обителей православной России.

Яша отворачивался и слышать не хотел наставлений Паисия, и если, правда, не позволял себе посмеиваться над обстоятельными рассуждениями хорошо упитанного иеромонаха о правилах веры, нравственности и верноподданнического долга, то порою запальчиво прекословил и начинал доказывать свое. А главное, настойчиво требовал ответа:

— Почему вы заперли меня в тюрьму? Это не по

закону — вам предписано меня постояльцем держать! Где ваш настоятель? Ведите меня к нему!

Ходить в церковь под охраной двух караульных солдат Яша отказался — из протеста; и хотя в камере висела икона, из того же духа протеста не клал ей поклонов и не совершал молитв. Временами на Яшу нападало такое буйство, что прибегали стражники и связывали ему руки.

Бумагу для писем ему не давали. Книг тоже. Тогда Яша пошел на хитрость — пообещал вести себя лучше, если будут давать ему книги для чтения и бумагу. И еще Яша попросил у иеромонаха во время последней беседы книгу про историю Соловков. И вот сейчас тот и принес ему такую книгу.

3

Яша (смотрит книгу, листает). А бумага писчая, перо и чернила?

Паисий (усмехается). Все сразу хочешь? Сразу ничего на свете не бывает, малец. Даже блохи не изловишь.

Яша. Вот за книгу спасибо. Может, и я, как прочту это, стану таким же умным и опытным, как вы? (Яша поглядывает искоса на мясистое лицо иеромонаха и борется с искушением — взять и стукнуть его книгой по голове в отместку за разбитую губу.) Читать мне будет дозволено только при караульных или как? Это же не крамольная? Не про Парижскую коммуну, а про вашу же обитель?

Паисий (Яша таки довел его, лицо у иеромонаха темнеет, но, тоже борясь с собой, он сдерживает гнев). Ты должен бы знать, негодник, что в чтении духовных книг многие находят единственное прибежище от мирских тревог. А тебе советую... советую смириться, язвы сибирская, гляди, иначе... (Не сдержался и грозит Яше увесистым кулаком.) Иначе придется внушить тебе кое-что полезное через посредство рукоприложения.

Яша. Вы как с Боголюбковым хотите, да?

Паисий (он вряд ли знает историю с Боголюбковым, но не желает и знать). Начало всякой премудрости — страх господень! Так было и будет. И ныне, и присно, и во веки веков. Понял ты? Так запомни!

Яша. (слизывает кровь с губы). Страх господень... Ну я запомню... Только знайте: меня вы не запугаете. Все равно сбегу!

Паисий (смеется). Надо тебя по стенам нашим да по башням поводить и вокруг монастыря тоже, тогда ты и пытаться не стал бы зря.

Яша. Поводите... Это я с охотою.

Паисий. Так держи себя как подобает, коли тоже хочешь, как ты сказал, умным стать, бесенок! Не о побеге ты должен думать, глупый отрок, а о том, что тебя здесь ждет! (Яша со вниманием слушает, и Паисий спешит воспользоваться моментом.) Тебя здесь утвердят в науке жить достойно!

Яша. Вы мне книги давайте. Сам научусь.

Паисий. Экой ты! Ну, книги будешь получать, если станешь себя вести лучше. А пока давай сойдемся вот на чем: как войдет сюда отец Мелетий, кинься ему в ноги, ручку поцелуй, попроси благословения.

Яша (с надеждой). И меня не будут держать в одиночке?

Паисий (отнимает у Яши книгу). Это я на всякий случай. А то с тебя, бесенка, всякую пакость можно ожидать.

Яша (вдруг понял, отчего иеромонах отобрал книгу). Вы испугались, да?

Паисий. Не так уж ты страшен для нас, но...

Яша. Ага! И все ж таки убоялись, чтоб я не кинул ее, эту книгу, в голову настоятелю, ежели он не выпустит меня, да? Так знайте: я могу еще не то сделать, увидите! Я не сдамся! Я его палачом обзову, вот и будет вам страх господень!

Паисий (грозит Яше). Не смей! В подвал посажу.

Яша (это уже, видно, не первая стычка его с иеромонахом и не первая угроза, услышанная от него). А зачем он закон нарушил? Зачем меня воли лишил совсем, я же не каторжный!

Иеромонах все грозит кулаком молодому узнику и, может быть, исполнил бы свое намерение избить его, но в коридоре уже слышны голоса и стук палки. Тонкий, бабий, на высоких нотах голос — это голос самого архимандрита Мелетия, а палка — это посох в его белой руке. Один, без целой свиты монахов он не ходит в арестантский острог. Слышен и топот сапог начальника караульной команды.

Паисий (идет к стоящему у раскрытой двери настоятелю). Благословите, ваше высокопреподобие, и позвольте доложить: я принес Потапову книгу про наш Соловецкий монастырь, и обещано мне, что она будет прочтена. И что вообще постарается вести себя лучше.

А Яша, едва заметив Мелетия, не только не бросается ему в ноги, а, наоборот, пятится назад. Мелетий в черном шелковом подряснике, но лицом и фигурой вдруг напоминает Яше генерала Трепова. Настоятеля Яша видит впервые, но сразу проникается к нему недобрым чувством, и пропадает охота кланяться, просить.

В камеру Мелетий не входит, а только окидывает ее тяжелым взглядом с порога. Позади почтительно замер в стойке навтыжку дюжий горбоносый начальник караульной команды.

Паисий (подталкивает Яшу к двери). Подойди, проси благословения.

Яша (упирается). В другой раз... Сейчас не буду...

Мелетий (благословляет Паисия и отходит от двери, бросая на ходу). Икону бы сняли, пока он не покается, незачем ей тут быть, в обители безбожника.

Яша (кричит вслед). Вот, вот! Я же не молюсь, не бью поклонов!

Мелетий (уже пошел к следующей камере, но пискливый голос его слышен). И в церковь на богослужения не водить пока! Не надо, раз так непотребно себя ведет! Сперва пусть почувствует: не где-нибудь он, в святой обители!

Яша (бросается к двери). Я в тюрьме! В тюрьме вы меня держите, а не имеете права! (Обращается к Паисию.) А вам я ничего не обещал!..

Паисий. Молчи, дуралей! (Выходя из камеры, больно тычет книгой Яше в бок и вдруг как-то по-свойски говорит.) Белый свет тебе не мил, что ли?..

4

Захлопнулась тяжелая дверь, прогремел засов, и Яша опять остается один в глухой тишине.

И сейчас ему уже ясно: то, что было в Спасо-Каменной обители, может показаться раем в сравнении с тем, что происходит здесь. Там Яша все-таки мог ходить где хотел, а здесь, будь ты даже на воле, чувствуешь себя во власти мертвящего сурового режима. Тут что хотят могут с узником сделать, и не пикни. Иначе запрячут в подземелье башни и продержат там в цепях до могилы.

Страшно Яше, впервые по-настоящему страшно.

Он долго стоял у стены и раздумывал. Шершавая, холодная, она была сложена из каменных валунов.

Может, и в самом деле повести себя поспокойней и набраться ума-разума от отца Паисия? Хитроумный, видать, из тех, кто и в душе черен, не поймешь его. Груб, резок, и в то же время проскальзывает что-то странное: будто хочет войти в доверие к Яше.

Может, не в шутку сказал, что научил бы Яшу, как жить достойно? Не совсем, правда, понятно, что бы это могло означать? По-монашески жить достойно? Смирено покорствовать — не это ли Паисий имел в виду?

Уразуметь, что он за человек, Яша пока не может, но неожиданно Паисий становится для него зацепкой: нельзя ли сговориться с ним? Не ждет ли Яшу здесь какой-то просвет?

Даже в предварилке Яша чувствовал себя лучше, чем здесь. Там в камерах сидели в большинстве свои, там и перестукиваться удавалось, какое-то общение было. А здесь ни до кого не достучишься. Стены толщенные, сырые и непроницаемые, звука не дают.

Принесут завтрак. Обед. Ужин. Щи да каша. Огня не зажигают, да в нем и нет надобности, ночи белые, светло как днем.

Север... Июль, а к вечеру в камере сильно свежее, и Яша зябнет от холода, зуб на зуб не попадает, а утеплиться нечем, даже под одеялом мерзнешь, хотя одеяло солдатское, из грубой серой шерсти, а монастырский кафтан из дерюги.

Выход какой-то надо ж искать...

Он берется за книгу и с первой же страницы снова и еще глубже проникается убеждением, что терпение тоже есть подвиг; и недаром говорится — терпение и труд все перетрут. Сколько ни обманывались люди с самых древних пор в своих надеждах, а жизнь шла вперед, несмотря ни на что. И то, что Яша читал в книге, как бы подтверждало это примерами из далекого прошлого.

А говорилось в книге, что давным-давно, более четырех столетий назад, еще при московском князе Василии Темном, два инока Валаамского монастыря, что на Ладожском озере, Савватий и Герман, ушли на Север и, перебравшись в лодке на Соловецкие острова, поселились там на Секирной горе. Глубоко религиозный уклад всей жизни той далекой эпохи часто рождал стремление уйти как можно дальше от мира с его соблазнами, а красивые картины тихой пустынной жизни неодолимо влекли к себе глубокие и мечтательные на-

туры. Прослышал о подвигах Савватия и Германа житель Прионежья — Зосима и упросил позволить ему поселиться вместе с ними...

Яша тут задумывается: уходили люди в глушь, наверно, не зря — от зла уходили подальше; и не зря этот Зосима присоединился к монахам, подневольный был скорее всего и бежал от барской несправедливости сюда на тогда еще совсем пустынный крайсветный остров. Может, провинились в чем-то и эти два монаха.

А мало ли народу ушло из его, Яшиной, деревни на заработки, на поиски сносной человеческой жизни? Почти половина казнаковских мужиков разбрелась по белу свету с семьями.

Но что же было дальше на острове?

«Вскоре Зосимою была построена небольшая деревянная церковь, к ней собрались мало-помалу другие любители уединенной жизни, и так было положено начало монашеского общежития на далеком Севере России...»

«А почему ж она тюрьмой стала? — задается вопросом Яша. — Да еще такой страшной!..»

Ответить, объяснить это Яше некому, он тяжело вздыхает, съеживается от холода в комок, поджимает колени к подбородку и читает дальше:

«В числе главных деятелей Соловецкого монастыря мы встречаем друга детства царя Ивана Грозного — боярского сына Федора Колычева, в монашестве Филиппа, впоследствии ставшего игуменом соловецким и, наконец, митрополитом московским. Во время его игуменства был воздвигнут главный пятиглавый Преображенский собор и другие храмы на Соловках. Он устроил дороги, соорудил кирпичный завод, мельницу, скотный двор, расширил соляные варницы, развел на острове оленей, соединил островные озера каналами и дал таким путем прочное обоснование хозяйственной жизни в обители. Монастырь рос и креп. На материке ему

принадлежало 700 квадратных верст земли и 5 тысяч крепостных крестьян...»

— Ого! — удивлен Яша. — Зачем же монастырю столько земли да еще крепостных столько?

Пора быть ночи, а темноты нет, и Яша, увлекшись книгой, не замечает бега времени. В Соловках уже больше 300 монахов и до 700 слуг — послушников и «трудников»; обитель ведет соляной, морской, зверобойный промыслы, слюдяной, железный; постепенно обитель становится важной пограничной крепостью, вокруг нее возникает стена толщиной до шести аршин и до десяти аршин высоты, с десятками орудий и сильным гарнизоном, и вот уже крепость — опора, помогающая поморам храбро отбивать нападения иноземных захватчиков, не раз пытавшихся отторгнуть Беломорский край от России...

«Вот! Значит, было и что-то хорошее в прошлом у монастырей», — думает Яша и уже не может оторваться от книги и, будто въяве, видит, как стреляют пушки из бойниц, и грохочут ядра, и сверкает огонь, и звенят мечи, и не сказочный какой-то Бова-королевич, а простые русские люди в одном тесном строю совершают чудеса, отгоняя от стен осаждающие их неприятельские войска.

В тесном строю, в сомкнутых рядах.

Валится один, на его место становится другой.

Что жизнь сложна и противоречива, Яша уже давно понял, она нередко так запутана, что нелегко разобраться, отчего это так, а то этак. Но сквозь мысль о сложности окружающего мира прорвалась у Яши, точно отблеск молнии, еще и другая мысль, и она привела Яшу в этот белый полярный вечер к новому открытию.

Вот он одинок, оторван от всего, что считал своим, заточен в страшную тюрьму и отрезан от мира напрочно. Его лишили, казалось бы, всего! Ан нет же, нет!

Яша вскочил и взволнованно заходил по камере, или «чулану», как ее здесь называли.

Потом Яша снова стоял на табурете у окна и смотрел, как солнце спускается в море, усеяв легкие волны нежными золотистыми бликами до самого горизонта. Почти там же, где солнце сядет, оно через короткое время и взойдет. А в промежутке будет прозрачная белая ночь. И как же красиво могли бы жить люди, господа! Почему так плохо устроена жизнь?

Вопрос этот уже не раз вставал перед Яшей, но сейчас вместе с вопросом этим пришло не отчаяние, не чувство потерянности, а нечто другое. Он подумал: «Ведь должно же быть что-то в этой жизни твоим, кровным, родным и близким. Оно должно быть с тобой и в тебе, даже в неволе. Что же это?»

Вспомнилось ему: муза Клио, это она ведет рукой летописца — так люди придумали, но историю они не придумали, она в делах человеческих.

Стояли перед глазами картины прошлого, навеянные чтением книги о Соловках, и Яша с удивлением обнаруживал: в этом есть и то, что близко ему. И он приходил к пониманию, что история борьбы и трудов людей хотя несла с собой вместе с добром еще и страдания, а вместе с истинным и настоящим приносила людям и заблуждения, но это *его* мир, *его* история, *его* кровное прошлое. Крепкими нитями оно связано с сегодняшним, и тот, кто найдет эту связь свою с прошлым и с тем, что вокруг, тот не так уж одинок и вправе считать себя одним из тех, кто и сегодня сражается в тесном строю...

5

Наступила зима с густыми снегопадами и трескучими морозами. На целых восемь месяцев отрезала она Соловецкие острова от сообщения с материком. Свире-

пые шторма носят по морю тяжелые льдины, и, из опаски столкнуться с ними, пароходы отстаиваются до весны в затонах. Съезжает еще осенью в зимнюю свою резиденцию на материковый берег и архимандрит Мелетий; и пока не пойдут пароходы, обитель соловецкая управляется без него.

Часто навещался к Яше в «чулан» Паисий. Приходил с Библией в порыжелом переплете и поучал Яшу умению «жить достойно». Приносил книги, прихватывал иногда из трапезной для Яши что-нибудь лакомое из монашеского обеда.

— Вы меня вроде бы жалеете, — как-то сказал ему Яша. — А за что? Я же все равно не исправлюсь: на меня и страх господний-то не действует. Я неприкаянный.

— Ничего, — усмехался Паисий. — Прикаем тебя, сломаем...

Он так и говорил: «сломаем» (а не уломаем), но не зло, даже потреплет Яшу по голове, словно бы в знак ласки и расположения, а затем раскрывает свою рыжую Библию. Яша усаживался рядом, и начинался урок.

Библейские сказания, на взгляд Яши, мало подвигали его в понимании науки жить достойно, и, не таясь, он так прямо и говорил своему наставнику. И снова тог с усмешкой отзывался:

— Все познается во благовремени, нерадивое дитя ты мое. Не берись доказывать мне своим богопротивным поведением извечную оправданность греха. Пытались уже многие...

Яша порою не понимал Паисия — «извечная оправданность греха». Что бы это значило? Вместо ответа Паисий вдруг сказал с любопытством, поглядывая сверху вниз на Яшу:

— Послушай, расскажи мне о себе. Откуда ты родом и что это было с тобой в Петербурге? Чем ты царя-батюшку прогневал?

— Царя? — Яша хлопает глазами, стараясь вникнуть в смысл услышанной фразы. — Я — его? Да что вы?

— Ну да. Ты государев пленник.

— Государев? Я?

— А ты не прикидывайся и расскажи как на духу, что там у вас было? С чего это все у тебя началось, с какого греха? Ты против царя-императора кричал?

— А разве не сказали вам? — недоумевает Яша и даже поражен: как могут не знать этого те, кто держит его здесь под замком?

Мало-помалу из пояснений Паисия Яша начинает понимать: в бумагах, присылаемых сюда вместе с преступником, часто не говорится, за что ему остров определен. Иногда пишут: «За великоважную вину». Правда, его высокопреподобие архимандрит Мелетий, бывая зимой на материке, имеет возможность вникать более подробно в обстоятельства жизни и грехопадения содержащихся здесь и отданных под его власть арестантов.

— А про тебя слух идет, будто ты в нехорошую историю попал. — С непонятным для Яши огорчением Паисий качает головой. — Жаль, не было тогда с тобой доброго наставника, вроде меня, скажем, кто удержал бы тебя, неразумного, отговорил.

«Нехорошая история», Яшу задевают эти слова, и, сам того не желая, он попадает на удочку коварного иеромонаха, заводится — и пусть его что угодно думает! Это казанская-то демонстрация — «нехорошая история»? Не знает он, значит, о событиях последних лет в Питере? Не пробились, значит, сквозь эти толстые стены вести о потрясающих всю Россию событиях? О хождении в народ он знает? О судебных процессах по «казанскому делу», по делам «50-ти» и «193-х» слышал?

Яша рассказывает обо всем этом, торопясь, захлебываясь словами, будто боится, что не успеет, не даст ему Паисий договорить. Но тот молчит, не перебивает

Яшу, не останавливает его, а только часто с нескрывае-
мой опаской оглядывается на дверь. Но чувствуется —
откровенный этот разговор ему интересен.

— И ты там на площади флагом размахивал?

— Размахивал.

— Красным?

— Да, красным. И про землю было на знамени, и
про волю. Могу перекреститься, что правда!

— И народу вашего много было?

— Да порядочно.

— Земля и воля... — бормочет про себя Паисий, и
будто все не верится ему. Он наклоняется ближе к
Яше, как бы давая этим понять, что тот должен гово-
рить тише. — И что народ кричал?

— Чего кричали? «Ура!» кричали. И речь хорошая
была... За все это и разогнали нас, да в кутузку, кого
успели сцапать. Потом уж и суд был...

И опять, в который раз, Яша просит у Паисия перо,
чернила и бумагу. И снова слышит в ответ:

— Говорил я с его высокопреподобием насчет твоей
просьбы — не позволяет. Теперь до весны без него не
решится это. Ты уж...

— Несусветная ерунда, чушь! — кричит без стесне-
ния Яша. — Аж до самой весны ждать кусочка бумаги
на письмо!

— Зачем такие слова говоришь: ерунда, чушь?
Слова такие произносятся токмо разве для досады
слуха. — И Паисий со вздохом добавляет: — Не вой-
дешь ты никак в свое положение. Ты от всего отрешен
приговором Синода святейшего и волею самого госу-
даря!..

— Неправда! — вырывается вопль у Яши. — Я на
поселение сюда приговорен, а не в каземате сидеть!..

— И не знаешь ты, что с узниками у нас тут бы-
вает, — тем же тоном продолжает Паисий и будто со-
крушается за Яшу, а тот твердит свое:

— Неправда ваша! Неправда! До весны дождусь, а там уж с настоятелем вашим окончательно поговорю!..

Паисий не раз говорил Яше во время бесед: сила духа в том, чтобы преодолевать свою природу. Иеромонах и сейчас повторяет эти слова, но вдруг спрашивает:

— А что бы ты делал в миру, если бы получил свободу?

Яша колеблется только одну минуту, сжимает кулаки, будто это придает ему силы, и говорит честно:

— Буду с погибающими вместе стоять... в одном строю... Как это предки наши делали... Против зла и всякого тиранства!.. Много зла и кривды в мире... За великое дело любви! — выпаливает Яша, но невольно для себя так громко, что Паисий торопливо затыкает ему рот и, успокоив его, спрашивает тихо:

— А как Некрасова хоронили, не скажешь ли? Ведь это его слова, знаю...

Иеромонах ждет ответа. Некрасова, видно, читал. Но Яша занят мелькнувшей сейчас мыслью: из прошлого, из того, о чем он читал в книге о Соловецком монастыре и из других книг, которые читал Яша, из событий минувшей истории России тянется прямая нить к тому, что было у Казанского собора, к хождению в народ, ко всем страданиям смелых людей в борьбе с «кнутами рабства», как написала ему неизвестная доброжелательница в единственном письме, которое он получил за последний год.

— Не было ж меня там, когда Некрасова хоронили,— наконец отвечает Яша иеромонаху, опомнившись. — Знаю только, что упокоен Некрасов на Новодевичьем кладбище в Питере...

Привычка к раздумьям в одиночестве часто уводит Яшу в ходе разговора с Паисием далеко: сейчас у Яши перед глазами стоит Юлия, и кажется ему — она одобряет его слова, его поведение, его мысли.

— А про злодейское покушение на жизнь нашего батюшку-царя ты знаешь? — спрашивает Паисий. Наступает его очередь отквитаться перед Яшей, и он снижает свой зычный бас до хриплого шепота: — В царя-то нашего злодей один стрелял... из ваших... этих самых... которые в народ ходили... и против языческого обожания власти... Уже повешен. Соловьев его фамилия была...

Яша об этом, конечно, не слыхал и, боясь подвоха, молчит.

— У нас тут благодарственное молебствие было по случаю избавления государя императора от страшной напасти, — сообщает далее Паисий. — И еще новость могу открыть, только по большому секрету. Сюда к нам недавно привезли из Архангельска одного из твоих...

Кого? Огвета Яша не получает. Паисию пора в церковь; звонят колокола, и мерное гудение их словно отрезвляет иеромонаха. Он захлопывает свою рыжую Библию и встает.

— А кого же привезли сюда, не скажете? — пытается узнать Яша.

— Нет, и не заикайся больше об этом! — настрого предупреждает Яшу иеромонах. — Говорено же было тебе, у нас все в секрете. Одно могу сказать: привезен арестант молодой и за такую же великоважную вину, как твоя. И забудь про то, что я сейчас сказал, ежели не хочешь причинить мучений сердца ни себе, ни мне. Ну, пойду грехи замаливать, грехи твои, свои и мира сего...

Яша не знает слова «ханжа», иначе подумал бы, что в Паисии есть что-то ханжеское, лицемерное, внешне прикрытое показной добродетельностью и набожностью. Черту эту Яша наблюдал еще у Гермогена, но тот был убежденный ханжа и простодушно верил в то, что говорил и делал. Этот в маске, в панцире лукавой изворотливости.

Когда Паисий выходит, Яша просит у него еще книг. И чтоб непременно о прошлом, о том, что не умирает, над чем время не властно и что помогает укрепляться в каждом истинной науке жить достойно.

6

По двору и стенам монастыря Паисий поводил Яшу; договорился с караульным унтер-офицером и под свою ответственность взял Яшу из камеры на целых полдня. Было это утром, но день стоял мрачный, с лютым ветром, о солнце тут все давно забыли, с осени.

Сначала обошли верхним крытым коридором кое-какие места монастырской стены — от башни до башни. Яша выглянул из одной бойницы и снова живо представил себе, как стреляли отсюда пушкари. С башни видно было — остров весь завален снегом, и только вблизи монастыря и на дворе внутри его чувствуется какое-то движение, да и еще там, где пристань, стук слышен и видны белые на морозе дымки.

Ремонт идет... Яша сказал себе:

— Ладно... Приметим это место. Дождаться бы весны...

Потом Паисий повел Яшу вниз и показал самые страшные места острога — те, что помещались под землей и куда сажали по особому повелению царя или Синода еще в давние времена.

И Паисий не только показал все Яше, но и рассказал даже про то, о чем не полагалось рассказывать. И у Яши пошел мороз по коже, когда он узнал, что творилось здесь в остроге при монастыре.

Издавна возник этот арестантский острог, еще в середине XVI века, почти вместе с основанием монастыря. По строгости обращения с узниками он долго не имел себе равных в России. Местом заточения служили каменные ниши-мешки в самой крепостной стене, внутри



башен и в подземных ямах; иных держали в кандалах и колодках.

И никто из родных и близких никогда ничего не мог узнать о судьбе узников; соловецкий острог был долгое время секретной тюрьмой. Узников предписывалось держать «в крепком смотре», и никакая связь с внешним миром не разрешалась. Ни письма получить, ни весточку дать о себе узник не мог. И были несчастные, которые томились тут по двадцать, тридцать лет и даже больше.

— Мужайся, сын мой, — говорил Паисий; он видел, как страшно Яше. — На все господня воля. Есть общий грех мира сего и отсюда все проистекающее.

Яша часто не совсем понимал иеромонаха, но чувствовал: ссылками на «общий грех мира сего» Паисий словно бы и самого себя оправдывал, хотя и туманно. Но скоро Яша поймет все.

— Мы еще с тобой по острову пройдемся, — обещает ему Паисий. — Зимой у нас строгости не такие, как летом. Самих арестантов пускаем по воду ходить, на дворовые работы берем. А с весны не то! Все вольности кончатся.

Яша видел: на обширном дворе трудятся арестанты, «годовики», послушники, в большинстве молодые, есть и совсем еще мальчики. И все в рвани, одеты плохо, нищенски; на ком полушубок, то непременно в заплатках, на ком сапоги или валенки, то давно сношенные. И фигуры тоже кажутся какими-то нарочито уродливыми, головы косматые, на лицах лежат тени нездоровья, хилости, слабосилия.

Из «годовиков», как пояснил Яше Паисий, немало таких, кто приехал поработать на святых угодников Зосиму и Савватия. И каждый, прося на это благословения у монастырского начальства, привозит на поклон обители что-нибудь существенное: барашка, зерно, мех, сало, крупу или же «кланяется» обители какой-то сум-

мой денег. Перепадает кое-что от приезжих и арестантам острога.

— Летом мы тебя не выпускали, а то бы ты не то увидел, — говорит Паисий, и усмешка не сходит с его губ, похожих в сомкнутом виде на узкое отверстие копилки. — У нас тут летом народу тьма, всякого пола и звания, всякой твари по паре и в одиночку — ярмарка целая!

Видеть то, о чем иеромонах так словоохотливо рассказывает, Яша не мог, его успели перевести в другой «чулан» — камеру на том же, третьем, этаже, и вид из нее только вверх, в небо, либо на ближайшую стену из дикого камня.

— Летом, значит, боитесь, вдруг кто убежит с острова?

Паисий все с той же ухмылочкой отвечает:

— Сейчас не то, что было. Но все равно — острог это острог. А наш особенный. У нас, в назидание добавлю, утечки с острова не бывало единого случая. Из этих казематов пробовали бежать, но не дальше острова. А летом строгости преособые на всякий случай... Сюда давай, в эту башню. Темница тут заброшена, но в былое время и ты мог бы попасть в оную...

Он водит Яшу по старинному подземелью, устроенному под башней; показывает камеры, где едва можно уместиться человеку, узкие и темные, это каменные мешки без окон; только в железной двери прорезано отверстие для подачи узнику пищи. Внутри ничего, кроме кирпичной лавочки, на ней спал узник. Трудно пробыть сутки в такой норе, и Яша не может даже представить себе, как же могли обреченные прожить здесь годы.

— Ад... Дантов ад, — бормочет в ужасе Яша. Он не предполагал, что Паисий это услышит, но тот услышал. И удивлен:

— А ты откуда про Данте знаешь?

— Рассказали мне добрые люди. — Яша затем наивно восклицает: — А вы откуда про Дантов ад знаете?

Паисий держит лампу так, что его лицо остается в тени, и поэтому не видно усмешки, но в голосе она слышна:

— Милый мой прохиндей, ты что думаешь, я меньше твоего книг прочел? Меньше тебя людей встречал?

Они идут к выходу, и на обратном пути иеромонах признается Яше:

— Вот добрых людей я мало встречал на своем веку. Они почти совсем не попадались мне. Тебе еще повезло вроде бы, — добавляет Паисий, и теперь, снова очутившись на монастырском дворе, Яша замечает — нет уж прежней усмешки на щекастом лице Паисия, он словно бы тоже опечален увиденным. Яша недоумевает, он сбит с толку, а Паисий продолжает: — Не случилось мне, не судил господь что-то такое найти в жизни, чему в свои молодые годы я бы мог, подобно, скажем, тебе, отдать духорадостно свои чувства и привязанности. Так и прошло все в этих стенах.

Признание Паисия ошеломляет Яшу. Что с иеромонахом? У него двойное дно в душе, оказывается. Но Яше еще предстоит вперед узнать о Паисии немало странного.

— Сейчас ко мне пойдем, — говорит он. — Но сперва по пути в наше книгохранилище заглянем на короткое время. Ты ведь книги любишь.

Они входят в кирпичное здание и через несколько минут оказываются в монастырской библиотеке. Сводчатый потолок низко нависает над полками, свету из окошек падает мало, и ни одной души не видать, кроме сидящего в дальнем углу престарелого монаха в черной скуфейке.

У Яши прямо-таки дух захватило — сколько книг! Переплеты порыжелые, как та Библия, с которой Паи-

сий является к нему в камеру. Пахнет пылью и мышами, но Яшу эти запахи не отпугивают — вот где хотелось бы ему сидеть хоть целые дни. Рыться среди этих рыжих от времени книг, лазить по полкам, выискивать что-нибудь особое, открывающее глаза на жизнь и человеческое прошлое — вот было бы счастье! И у Яши рождается мысль:

«А что? Уж ежели присужден человек к неволе, то отчего бы не водить его сюда книги читать? Хотя бы на два-три часа?»

Подойти к полкам Паисий не разрешает, и стоит Яша у двери, пока иеромонах переговаривается о чем-то с хранителем этого книжного мира.

— Благодарствую, отец, — говорит Паисий, кончив разговор. Берет с полки какую-то книгу и уводит Яшу в коридор

В келье Паисия — она на втором этаже монашеского корпуса — все скромно, но чисто. В углу киот, мерцающим светом поблескивают иконы. Паисий зажигает лампу, и, пока он хозяйствует у шкафчика, что-то достает оттуда, Яша заглядывает в книгу, которую тот положил на стол. Это «Деяния апостольские», переплет тоже рыжий.

— Любопытен ты, вижу, ко всему, — слышит Яша голос Паисия и захлопывает книгу. — Душеполезное качество, должен признать. В тебе, может, великий знаток истории пропадает!..

Он достает из шкафчика две белые булочки, яблок несколько и пузатую бутылку с чем-то красным, и все это ставит на стол. Яша таких красивых краснобоких яблок в жизни не видал и, конечно, не прочь отведать, если угостят.

Но что в бутылке?

Вот на столе очутились и две чашки. И со словами: «Перекусим маненько» — Паисий наполняет красной жидкостью обе чашки.

— Пей, арестант. Вино собственного приготовления, наше, церковное.

Чашка вместительная, но иеромонах выпивает ее единым духом и наливает себе еще. Яша, уже не зная, чему поражаться, тянет свое вино маленькими глотками.

— Хорош напиток, — говорит Паисий. — Дуй, дуй! А я пока тебе кое-что почитаю, малец. Но не «Деяния апостольские», как тебе, наверно, думается, а кое-что другое.

Из потайного места под кроватью Паисий извлекает небольшую тетрадь и усаживается читать ее Яше. На обложке рукой Паисия выведено старославянской вязью: «От наготы до обильных одежд». Это сочинение самого Паисия, и, прежде чем взяться за чтение столь необыкновенной для монаха рукописи, он говорит Яше:

— Присядь, сынок, поближе, я рад с тобой по-душевному потолковать. — А затем он признается Яше в самом сокровенном: — Ведь давно без человеческого тепла живу!..

Яша, конечно, готов послушать, коли по-душевному. От вина его в пот ударило, оно крепкое, на спирту, и совсем не церковное. Но голова пока ясно работает, и неотступный вопрос стоит перед Яшей: что же это такое? Как понять? Подземная тюрьма, где гноили людей, и богатое старинное книгохранилище. Обитель, где люди сами обрекали себя на жизнь без человеческого тепла, и сочинение про то, как постепенно шло развитие человечества от первобытной наготы к великолепию обильных одежд.

Монастырь-крепость, защита от иноземных нашествий, и он же место угнетения тела и духа людей.

Как же это все вместе связать?

«Общий грех мира сего?» «Теперь понятно, — думает Яша, — это он и про себя, значит».

В келье хорошо натоплено, тепло, в теле и в голове Яши тоже тепло, и скоро его начинает одолевать дре-

мота; и до него уже не доходит, какие одежды носили в Древнем Риме, а какие — в средние века, как одевались женщины в Испании и во времена Киевской Руси...

Паисий слышит легкое мерное сопение и прерывает чтение. Свесив голову набок, Яша спит. Не будя его, иеромонах долго ходит в глубоком раздумье взад и вперед по келье. Иногда останавливается и с грустью смотрит на Яшу. В какую-то минуту Яша вскинулся, очумело повел мутными глазами вокруг, ничего не понял и снова уснул.

— Эх! — произносит с сожалением Паисий. — При другой жизни был бы у меня такой сыночек... Была бы и семья, и были бы утехи, самые простые, как у всех людей. А теперь что говорить — занесло не на тот путь, да уж нечего делать, расстригой стать поздно...

Вот протопал кто-то мимо по коридору, и Паисий спешит к двери. И стоит там начеку, чтобы в нужный момент, если бы вдруг появился в коридоре настоятель, разбудить Яшу. Рукопись свою иеромонах уже спрятал, а для виду раскрыл на столе книгу про деяния апостолов...

Больше Паисий не водил Яшу в свою келью и не читал ему про то, какие одежды придумали люди для прикрытия своей наготы.

Минула зима, пришла запоздалая полярная весна; льды из океана долго держались в холодных беломорских водах, и первый пароход смог пробить себе дорогу с материка к Соловкам лишь в июне. Пошли суда и с острова к Архангельску, где уже дожидались тысячи богомольцев. Из переполненных пароходов вывалились на монастырские пристани толпы желающих поклониться святым угодникам и замолить грехи.

Выгружалась на берег гора мешков с мукой и зерном — здесь, на острове, не вызревала рожь.

Иные из богомольцев успели прожить в пути и уже просят подаяние, иные идут хлеб зарабатывать на мельницу, на монастырскую кухню, кто пилит и колет дрова, кто вывозит мусор, убирает двор и монашеские корпуса. Монахов всего человек триста, а работают на них летом несколько сот доброхотов. Одни богомольцы пристроились кое-как в неприглядных помещениях, именуемых гостиницами, другие укладываются на ночь прямо на соборной паперти. На острове — он не очень велик — много «святых» мест, и мало-помалу приезжие разбредаются кто куда.

Вернулся с первым пароходом на остров и настоятель Мелетий. И тотчас снова начались строгости в укладе жизни узников, их уже не выпускали из-под надзора, камеры запирались и даже на работы заключенных во двор уже не водили.

А Яша, однако, даже обрадовался, когда узнал о появлении Мелетия в монастыре, и стал просить Паисия, чтобы похлопотал о разрешении ему, Яше, написать в Петербург.

— Вряд ли он разрешит, — скептически качал головой иеромонах.

— Но почему? — не мог понять Яша и говорил с досадой: — Я же ничего такого не напишу!

— Попробую уломать, — пообещал иеромонах. — Только мои собратия и так уже нарекания на меня имеют, будто я мирволю тебе и всяко попустительствую, а должен бы взыскивать построже. Эх, дитя ты мое неразумное, агнец ты еще совсем, хотя и стукнуло тебе почти двадцать.

У Яши начинала курчавиться реденькая светлая бородка, но на вид никто не дал бы ему столько лет, он оставался таким же худеньким, тощим, неприметным, каким был и в шестнадцать. «Агнцем» называл его Паисий. О, если бы отец настоятель это услышал — в глазах Мелетия Яша оставался государственным преступ-

ником, одним из самых трудных и опасных арестантов острога.

После разговора с ним Паисий явился к Яше в камеру и сообщил:

— Нет, дозволения тебе писать не дается, его высокопреподобие против. Но, правда, дал бы согласие при одном потайном условии. Ты не слыхал из истории про «Слово и дело»?

— Слово и дело? А насчет чего? — с недоумением спросил Яша.

Паисий начал свои пояснения с тяжелого вздоха. Помялся и, не глядя Яше в глаза, сказал:

— Арестантам у нас дозволяется иногда писать домой, но только о присылке им для пропитания запасов и о прочих домашних нуждах, и не более того. И чтобы в письме подавно уж не было противных богочестию суждений и никакой зловредности вообще. Есть у тебя кому писать?

Яша давно обдумал, кому и как он напишет. Домой, в Казнаково, родителям, просто передаст от себя привет. А просить у них нечего, сами бедствуют.

Главное письмо будет к Вере Фигнер, ее питерский адрес он помнил, бывал ведь. Не довелось ему тогда победать у нее, ведь позвала. И не может же быть, чтоб она забыла его за эти немногие годы. Он не сомневался, что это именно от нее приносила Ольга в предварилку передачу для него и не без ее участия был нанят защитник, когда готовился суд.

Она! Она! Яша твердо верил: все она! Но кто же та, которая прислала ему письмо в Спасо-Каменскую обитель? Не могла она быть Верой Фигнер, иначе не писала бы, что не знает его.

Наверно, и Ольга попала под арест. А вдруг и Фигнер уже в «нетях»?

У нас было время рассказать об этом, потому что Яша не сразу ответил на вопрос Паисия, хотя, казалось

бы, все давно продумал. Причиной заминки было сказанное иеромонахом насчет «слова и дела».

И, словно угадав, в чем затруднение Яши, Паисий как раз об этом и заговорил:

— Ну, куда и кому напишешь, это твое сугубое дело, особое, но сыздавна повелось у нас такое: ежели арестант скажет, что знает какую-то «государеву важность», государево «слово и дело», то доноситель может быть отправлен в Петербург для дачи личных показаний по принадлежности, кому следует.

— Каких показаний? — Яша еще не понимал, о чем речь.

— Еще объяснять тебе, балда, — с внезапным раздражением отозвался иеромонах. В последнее время он снова стал грубым и резким. — Бестолковая у тебя башка, однако, балда и есть! — совсем уж ни за что обругал он Яшу. — Ну, тогда слушай ухом, а не брюхом: «государево слово и дело» означает, что ты, коли скажешь эти слова, берешься сообщить про известных тебе оскорбителей особы царя или об дерзостном умалении особ верховной власти.

Теперь Яша понял.

Паисий бросил на него беглый взгляд и снова отвел глаза.

— Думай, думай, сынок. Коли решишься, то окажешься там, в Петербурге, где в тайной канцелярии тебя допро...

Договорить Паисий не успел. Яша так нехорошо обругал самого настоятеля, что Паисий обеими руками заткнул уши.

— Экий ты все же предерзостный юнец! — сказал Паисий. — Не приведи господь повторить эти богохульные слова при его высокопреподобии!

— А я не побоюсь, коли придется, — весь белый от негодования, произнес Яша. — Я еще и побить могу за такую подлость!



Глава седьмая ПОЩЕЧИНА

1

В это лето Яше бежать не удалось — он проболел почти два месяца, сыпной тиф обессилил его настолько, что ходил он, держась за стены, иначе не мог. Исхудал до невозможности. И не успел прийти в себя, как короткое северное лето кончилось, повалил снег, засвистели вьюги, и снова наступила зима.

Настоятель Мелетий на сей раз почему-то остался на острове, и недовольны были этим все обитатели монастыря, и вольные и невольные. О, какая это была трудная, суровая зима! Казалось, ей конца не будет...

Завезенные сюда летом и брошенные собаки поднимали тоскливый вой, когда на соборной колокольне и в других церквях острова начинали бить в колокола. И звон колоколов тоже казался протяжно унылым. А отойдет служба в соборе, и наступит тишина, на душе становится еще тоскливее.

Из-за Мелетия связь с материковым берегом и с Архангельском сохранялась. Несмотря на опасности зимнего плавания по Белому морю, находились смельчаки,

ухитрявшиеся пробраться между льдинами на утлых суденышках и привозить в обитель на остров почту.

Читал Яша в эту зиму много, даже газетки иногда попадали к нему — приносил их тайком Паисий. Яша давно перестал понимать, что это за человек. Приставлен он был к Яше как наставник, который, как того требовали III отделение и Синод и как говорилось в бумаге, был бы «наиболее способен строгостью своей жизни и сознательной твердостью своих убеждений и правил послужить Потапову примером к исправлению». А наставник-то оказался вон каким!

После разговора о «слове и деле» Яша стал замкнут и не поддавался больше на откровенные разговоры, которые Паисий бывал не прочь продолжать.

— А что вы обо мне своему наиглавному отцу говорите? — спрашивал иногда Яша у иеромонаха.

Тот отвечал с обычной усмешкой:

— А как сам бы ты думал: что я могу про тебя доложить архимандриту?

— Ну, что я плохой, совсем не исправляюсь и зря меня поучают...

— А я в таком духе примерно и докладываю, — с той же усмешкой отзывался Паисий. — Хожу, говорю, беседую, душеспасительные поучения излагаю, говорю, в правилах нравственности и долга наставляю, а толку-то, говорю, пока мало.

— А он что?

— Ждет от тебя «слова и дела».

— Да? Ну ладно же. Он дождется. Будет ему и слово и дело.

Теперь надеяться было не на что, и Яша начинал задыхаться, без надежд он жить не мог. Не лежалось ему, не сиделось, и он часами мог метаться по камере, не находя себе места. Даже на табурет у окна не вставал — хмурое, вечно закрытое облаками небо ничего хорошего не предвещало и уже не манило к себе.

Что же делать? Так не лучше ли взять да умереть? Чего проще. Бывали у него такие побуждения... Но стоило только вспомнить, какую подлость предложил ему Мелетий, как он загорался надолго жаждой сперва что-то такое сделать, чтоб архимандриту стыдно стало, а потом уже наложить на себя руки.

Он в уме сочинял письма Юлии, и такие они получались хорошие, глубокие, по мысли и точно найденным словам. Он мысленно писал:

«Не доживу я, доживет Россия, в это-то я твердо верю, и, ей-богу же, посеючас помню ваши слова: «Не будем равнодушны к тому, что было светлого в нашем прошлом», и не только что помню, а стараюсь все так и понимать. Хотя нагладелся всяких бед премного и теперь лучше знаю, что такое русская земля и как она стала быть.

И потому не могу не скорбеть душою, что столько несчастных вокруг и даже монахов иных жалко, а кто в богомолье утешение своим бедам ищет — жалко особенно, а не было бы горя, я думаю, не стало бы ни богомольцев, ни всяких странников убогих, которые ищут, где жизнь полегче.

В Трубецком бастионе вам тоже, наверно, приходят такие мысли, и мне даже кажется, они ваши, и я радуюсь, что вы во мне живете и со мною заодно».

После такого письма Яше уж не хотелось помереть. Чем чаще он вспоминал о Юлии, тем больше прибывало в нем внутренней стойкости и убежденности.

Писал он «мысленно» письма и домой, в родную деревню, на фабрику тоже писал «всем поклон», и когда писал своим фабричным, то даже утренние гудки ему чудились, протяжные гудки, зовущие на работу.

«Отказ от своего ведет к предательству, — написал Яша в мыслях и настоятелю. — И как же вы, святой отец, сами толкаете меня на это?»

Еще в Питере Яша иногда слышал от революционеров шутливую фразу: «Вот он, маразм-то, где». И теперь он ее повторял, думая с негодованием о том, что означало «слово и дело»...

Паисий видел, как чахнет Яша, и все чаще приносил ему булочки.

Вдруг случилось непредвиденное.

2

В один из мартовских дней с материкового берега пришла на остров новость, потрясшая монастырь, всех его обитателей.

В Петербурге революционеры подстерегли царя, когда он проезжал в экипаже по городу, и метнули в него бомбу страшной силы. И царя уже нет — скончался от смертельных ран. Одного из участников покушения схватили на месте, остальных усиленно разыскивают.

Все это стало известно Яше не от Паисия, а от солдата из караула. Низенький, чахоточного вида, с сабельным шрамом на щеке, он не очень строго относился к Яше и, не имея права заходить в камеру, иногда переговаривался с ним через дверное окошко. Солдаты охраны жили в том же трехэтажном здании возле монастырской стены, где содержались «на крепком смотре» заключенные; и Яша видел: живут солдаты убого. Сутками они в духоте и темени коридора, и позавидовать им тоже нельзя было бы.

— Хуже собак мы, — жаловался Яше чахоточный стражник. — А куда денешься?

Сколько раз уж Яша слышал это: «Куда денешься», «Что поделаешь» — слова, с которыми русский человек, казалось теперь Яше, не расстаётся на протяжении всей своей жизни. И часто слова эти вовсе не означали смирение, безвольную покорность в судьбе, а крепкую жизнестойкость, готовность перетерпеть лихую годину, раз

уж от нее не отплюешься, не отлаешься и не открестишься, но вера в лучшее остается, и, что бы ни было, оно придет, это времечко, и если не дотянешь ты до него, то доживут другие.

Уверенность эта и жизнестойкость радовали Яшу и снова рождали добрые мысли о прошлом своего народа, но не только о прошлом; он начинал понимать, что до тех перемен, ради пришествия которых столько смелых людей пошли в народ, вышли на демонстрацию у Казанского собора и за это брошены в тюрьмы, до перемен к лучшему еще не близко, не так близко, как хотелось бы и как думалось прежде Яше. Впереди долгий путь, и надо запастись терпением.

— Но руки-то складывать тоже не след, — говорил себе Яша. — Пока жив, борись!

В день, когда на остров пришла весть о случившемся в императорской столице, Яша заметил: солдат со шрамом то заглянет в его окошечко, то отступит назад.

Яша припрятывал и совал иногда солдату булочку из тех, что приносил Паисий. Но иеромонах в этот день не явился к Яше, и нечего было дать солдату.

Улучив удобный момент, солдат припал к окошечку и все открыл Яше про казнь царя.

— Ну, один не попал, а другие попали! — сказал солдат шепотом. — На всю Россию шум, да такой, не дай бог. Скоро и у нас панихида будет под колокольный звон. Умертвили царя-то эти...

Он умолк и оглянулся.

Яша с дрожью в голосе спросил:

— Кто эти?

— Враги из этих, которые...

— Ну кто же, говори?

— А бес их знает, всякое говорят, да не все надо слушать. Ты будь поосторожнее-то, парень, худого ничего не говори.

— А я-то при чем тут? Я, что ли, эту бомбу кидал? Я только государев пленник. Может, сейчас выпустят, а?

— И не жди, милый, — сказал солдат. — Наш отец настоятель, слышно, уже кричал: это все они, которые вольнодумной свободы жаждает, ироды! Извести их надо всех, говорит, до единого! В старые подземные казематы засадить на цепь!

А Яша будто и не слышал эти слова, он загорелся — и уже в который раз в своей жизни — надеждой: должно же наконец наступить послабление, общее облегчение жизни, раз нет уже на свете главного самодержца, у которого не только узники тюрем, а весь народ был в «государевом плену». Должно, должно быть послабление, должна же стать полегче жизнь, как же иначе? Народ измучен до невозможности и как же не ждать новых, больших перемен?

Весь этот день Яша покоя себе не находил, все ждал Паисия, но тот так и не появился. Не пришел и на другой день. И на третий.

Сколько передумал Яша за эти дни, сколько пережил! Есть же люди такие на свете — ничего им не страшно, на все пойдут! Вот какой может быть Россия-матушка, когда вздыбится, когда станет совсем уж невмоготу и невтерпеж! Страшно, поди, было тому, кто бомбу метал, а сделал, раз взялся! Без твердых решений тоже не может жизнь вперед идти.

И еще мерещится в полумраке камеры, как тот молодой оратор, который на демонстрации у Казанского собора речь держал, снова бросает в толпу на той же площади зажигательные слова:

— Но тогда против царского деспотизма поднималась стихийная сила протестующего народа... Теперь обстановка переменилась!..

И опять он, Яша, машет над толпой красным фла-

гом, а народу так много, что вся площадь из края в край черным-черна — столько голов видно, и знамя-то не одно, оказывается, а множество, и на всех белым по кумачу начертано: «Земля и воля пришли!», «Да здравствует свобода!» И рядом с Яшей и будто бы даже помогая другим держать его на руках, стоит Юлия, счастливая, весело смеющаяся, славная Юлия.

И не знает Яша, захваченный волнующими видениями, что Архип Боголюбов был после драмы в предва-рилке переведен в харьковский каторжный централ и там сошел с ума. Не знает Яша, что Плеханов, который ораторствовал на Казанской площади, уже давно за границей; что подруга Юлии — Ольга, хотя и на свободе еще, но тоже скоро попадет за решетку; что Юлия по-прежнему тяжело больна и все равно из Петропавловки ее не выпустят; не знает он, что Юлия, как и Ольга, думает о нем, Яше, но сделать для него ничего не может, как ни пыталась.

И совсем не уложилось бы в возбужденной видениями голове Яши, что после убийства Александра II, совершенного по приговору тайной революционной организации «Народная воля», в императорской столице уже готовятся возвести на престол другого убежденного крепостника и душителя свободы — Александра III и новую революционную волну этот новый самодержец встретит страшным усилением полицейского режима во всей России.

«Чего хочешь, тому веришь» — эти слова Юлии Яша не раз вспоминал: не забылось даже то, по поводу чего они были сказаны. Это было в вечер накануне Казанской демонстрации, в сапожной артели студентов, Юлия верила в рабочих, рада была их участию в демонстрации и говорила: «Я горжусь, что завтра будем вместе».

И теперь Яша с надеждой спрашивал себя:
— Может, наши рабочие уже поднялись?..

Радужные видения Яши скоро рассеялись. Под вечер Паисий наконец зашел в камеру, и разговор с ним открыл Яше, как все обстоит на самом деле.

3

— Я к тебе ненадолго наведалься, — сказал Паисий. — Дела, знаешь, забот много всяких, с головой в них утопаешь. Ты-то как?

Яша смотрит на иеромонаха воспаленными глазами и ждет. Терпеливо ждет, что скажет тот дальше.

— Погода весьма неважная стоит, — говорит Паисий. — Протопили у тебя сегодня солдатики?

У Яши кружится голова, у него всегда так от сильного переживания, он все еще не пришел в себя. Но, пересиливая себя, он ждет, все ждет, что скажет Паисий, какие новости принес? Хоть раз порадовал бы за все время, сказал бы: ну, Яша, свобода пришла, это в ее честь колокола звонят, а вовсе не к обычной вечерне.

Паисий, стоя у окна в задумчивой позе, вторит звону с колокольни:

— Бам... бам... бам... Да, таковы дела...

И, ничего не сказав больше, направляется к двери. И прежде чем тот успевает постучать в нее, чтоб солдат из коридора отодвинул с той стороны засов, Яша хватает иеромонаха за рукав надетого поверх подрясника добротного овчинного полушубка.

— Стойте, отче! Что ж вы так ничего и не сказали?

В глазах Паисия вспыхивает совсем не деланное недоумение: чего хочет Яша? О чем с ним говорить-то?

А Яше недоумение иеромонаха кажется именно деланным, и он негодуя восклицает:

— Прячете все от меня, да? Скрываете, да? А я все и без вас знаю! Все про это знаю!

— Что ты знаешь?

— Слово и дело знаю, только не по-вашему, а по-другому совсем, такое слово и дело, какое в Питере сделали с царем, в которого бомбу...

— Да ты с ума спятил! — вскрикивает Паисий и бледнеет больше Яши. — Замолкни сейчас же! Чтоб тихо! Не то тебе будет, смотри!

— А что мне будет, отче, раз свобода пришла? Зачем ее замалчиваете, а все свой «бам» твердите? Не «бам», а да здравствует воля надо кричать!

— Сядь! — произнес иеромонах так резко, что Яша невольно опустился на койку. Паисий придвинул табурет и, едва не упираясь лбом в лоб, сказал: — Заблудший сын мой, раз и навсегда запомни: кричать о свободе можно, но это не возбраняется только там, где свобода желанная на самом деле есть, а где ее нет, там умным людям не стоит про нее даже и заикаться всуе. И слушай дальше, что скажу. Истинно христианское подчас принимается за крамолу, а законы божеские оборачиваются беззаконием. Так будь же умницей и лучше закрой на все глаза. Хоть этого я желал бы от тебя добиться. Думал я прежде из арестанта тебя вытащить, в монастырского послушника превратить и для того, признаюсь, тебя со всем у нас знакомил, по башням водил, и что под ними, показывал, и хранилище наших книг, и все прочее. Мне — так уж и быть, открою, — мне было дано на это разрешение от самого настоятеля, хотя он, признаться сказать, не очень-то разделял мои надежды. А я все делал, чтобы ты от мирской гибели в нашу обительскую тишину ушел, но, видно, не дал мне господь силы возобладать над твоим уразумением и волей. Но... опять же скажу, ты бы хоть пообещал сейчас по-умному себя повести. Оставайся при своем, но молчи! Тем паче же, говорю, сейчас!

Яша выслушал эту длинную речь, не глядя в серые выпуклые глаза иеромонаха, было совестно за него: можно ли так откровенно учить двуличию в человеке-

ском поведении? Чтоб на словах — одно, на деле — другое. Ведь такая же подлость, как то «слово и дело», которое предлагал настоятель Мелетий!

— А верно, что убит царь? — спросил Яша, когда иеромонах умолк.

— Господи! — словно в испуге отшатнулся иеромонах. — Я ведь с тобой о чем сейчас говорил!

— Я слышал, — покивал Яша, — ну и как, отче, по царю бывшему панихида будет?

— Будет, завтра сам отец Мелетий отслужит и божественную заупокойную литургию и панихиду.

— Ага! Сам! И еще божественную! А по Некрасову не служили в Спасо-Каменском, ни того, ни другого не стали. И у вас, наверно, тоже? За царя — так да, а за человека, который в мир принес великие слова такие, за него ничего служить не сочли. А почему так? Это похристиански будет?

— Ну довольно. — Паисий встал с табурета. — Я все сказал и сделал, чтоб тебя уберечь, и да спасет тебя всевышний.

Он пошел к двери, сказал уже с порога:

— Прощай!

— Стойте, отче, дозвоьте просьбу.

Не оборачиваясь, Паисий спросил:

— А о чем ты желаешь просить?

— Прогулки прошу. На прогулки выходить, хотя б даже под охраной солдата.

— Нет, — покачал головой Паисий и лица так и не показал Яше, видна была только его здоровенная спина и налитая толстая шея.

— Почему, отче? Поговорите с Мелетием.

— Сейчас и говорить нечего. Не разрешит он, знаю. И не проси даже!..

Паисий ушел, так и не обернувшись и не увидев, каким взглядом проводил его Яша.

В эту ночь Яша не сомкнул глаз. Все думал, думал... Наутро Паисию донесли, что узник Потапов просится в церковь на панихиду. Иеромонах несколько удивился, но караульному солдату разрешил привести Яшу к началу молебна.

До весны по здешним местам было еще не близко, на острове держались сильные холода, хотя уже стояла вторая половина марта, и солдат сам раздобыл для Яши какой-то старый, рваный бурнус, чтоб парень не мерз по пути к собору, да и в соборе не так-то тепло. Поди натопи такую громаду! Когда поднимались на паперть, солдат сказал шепотком под свист жгучего ледяного ветра:

— Велено крепко тебя охранять, так ты уж того, смотри!

Яша был хмур, сосредоточен, смотрел куда-то перед собой в одну точку. Вошли в собор. Тут Яша словно бы пришел в себя, невольно загляделся на поражающе богатый иконостас, который переливался многоцветьем серебра и золота, светился многочисленными ликами святых, изображенными на иконах.

Солдат подвел Яшу к стене в дальнем углу храма: — Тут стоять будем.

Народу на молебствии необычно много — здесь и монахи, и «годовики», и почти вся караульная команда, и арестанты из тех, кто не болел, не ослаб вконец и смог прийти.

Опершись о стену, Яша слушает торжественное пение хора — идет то, что Паисий назвал божественной заупокойной по убиенному императору, виновнику — в глазах Яши — всех зол на земле. Служит заупокойную сам Мелетий, и Яше непонятно, как это архимандрит сам взялся в такой день смешить людей своим тонким бабьим голосом. Неужели все верят, что произошло ве-

ликое несчастье для России; неужели люди остаются темны после таких подвигов в прошлом, умея и строить и украшать такие храмы, воздвигать такие крепости и все, что создано руками человека на земле.

Вдруг, перебивая эту мысль, входит в душу Яши и овладевает им воспоминание: «Есть времена, есть целые века, в которые нет ничего желанней, прекраснее — тернового венка». Где он это слышал и когда? Воспоминание заслоняет от Яши все, что происходит вокруг, и он не слышит даже песнопений хора и временами вплетавшегося в него тонкого голоса Мелетия. Яше представляется — вот он лежит ночью на полу в сапожной и слышит, как за стенкой кто-то из обитателей артели говорит:

«Но это совсем не то, терновый венок — это покорство к страданиям, а не довольно ли страдать нам?»

А Юлия — да, то был ее голос — отвечает:

«Ничто в жизни не дается без борьбы, и сильнее времени, если оно такое трудное, как наше, может быть лишь одно: святая готовность идти на все, не зная страха и жалости, даже к самому себе. Наш Чернышевский за это пошел на каторгу и сидит уже который год в Сибири. Великий ум заточен!..»

— Ты крестись, клади поклоны, — врывается в раздумье Яши голос солдата. — Ты чего как сонный стоишь? Нemoжется тебе, что ли?

Нет, с Яшей происходило другое.

5

Иной может не поверить в истинность того, что произошло дальше в соборе, и потому (да еще из некоторых тактичных соображений, добавлю) обратимся к дошедшему до нас из давних архивов святейшего Синода подлинному документу.

На другой же день после заупокойного молебствия

по случаю кончины Александра II архимандрит Мелетий послал в Петербург обер-прокурору Синода донесение, которое начиналось словами:

«Секретно, 20 марта 1881 года.

Ваше высокопревосходительство, милостивый государь».

А в донесении, оно целиком касалось Якова Потапова и подробно излагало все его неблаговидное, на взгляд настоятеля, поведение, были такие строки:

«...Когда получено было известие в Соловецком монастыре о печально грустной кончине государя императора Александра Николаевича и 19 марта была совершена божественная первая заупокойная литургия настоятелем с братиею соборне и после литургии панихида, при которой было все братство обители во храме, все годовые богомольцы, проживающие в обители, и военная команда и все арестанты, из числа коих приписанный крестьянин Яков Потапов, по выходе моем из алтаря, по окончании богослужения, среди храма подходит Потапов ко мне и говорит: «Теперь свобода», — и, замахнувшись, ударил меня по правому виску, в голову, но более не мог нанести дерзости, потому что сейчас же его задержали и караульный воин, и посторонние тут стоявшие люди и отвели его в свое место заключения.

О каковом поступке Потапова и дерзости его во храме в день 19 марта осмеливаюсь донести до вашего сведения и прошу ваше превосходительство довести до сведения высшей власти и как держать его под строгим надзором. Наставник его иеромонах Паисий почти отказывается ходить к нему для увещаний и нравоучения, потому что он вовсе не внимает его наставлениям; я решил впредь до дальнейшего распоряжения высшей власти держать его под строгим надзором в заключении и не водить в храм при богослужениях. О чем почтительнейше и доношу Вашему высокопревосходительству.

Вашего высокопревосходительства смиренный всегдашний богомолец, настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Мелетий».

Что же точно и что не точно в донесении уязвленного пощечиной архимандрита?

Точно, что была пощечина, но произошло все не совсем так, как изобразил это его высокопреподобие Мелетий в своем донесении.

Когда кончилась панихида и молящиеся двинулись к кованой двери, когда ее широко раскрыли, и в храм повалил метельный ветер со снегом, и все, выходя на паперть, на холод, торопливо надевали шапки, картузы и скуфьи, когда настоятель, довольный удачным молебном и пением хора, вышел из алтаря, Яша сказал своему солдату:

— Сейчас я... Вы не бойтесь!..

На середине храма Яша настиг Мелетия.

— Тебе чего надобно? — отшатнулся тот. — Где твоя охрана? Зачем по храму ходишь? Сейчас же марш в чулан обратно!

— У меня прошение...

— Не имеешь права вольно ходить, ты арестант!

— Но я же не каторжный, ваше преподобие... Я прислан был на поселение, а меня держат все время взаперти, как...

— Не рассуждать, сказано! Тебя еще не так надобно держать за нечестивость и вольнодумство твое! Столько времени в святой обители нашей пребываешь, а не усвоил даже, что архимандрит не просто преподобие, а высокпреподобие... Долой с дороги!

Одно только Яша сознавал ясно в эту минуту: перед ним стоит крепостник, тюремщик, человек, в точности напоминающий генерала Трепова; в день, когда Трепов появился в предварилке, у него было такое же красное мордастое лицо, как сейчас у Мелетия, и как смотрел тогда Трепов на худощавую фигуру Боголюбова, грозно

поводя очами, так и Мелетий глядел сейчас на Яшу. А Яша уже терял голову, и, казалось ему, все происходит в точности как там было, во дворе предварилки. И слышался Яше даже гневный голос Трепова, еще тогда врезавшийся в память:

— Ты почему в шапке предо мной! Молчать! Шапку долой!

Яша и сам не понимает, что с ним происходит; в глазах двоится, и кажется, будто он стоит не на каменных плитах, которыми устлан пол храма, а на утопанной арестантами дорожке двора предварилки, и на голове у него, у Яши, действительно сидит арестантская шапка, и невольным движением Яша тянется рукой к голове, и замечает: шапка-то у него в руке, и снял он ее давно, еще когда входил сюда.

— Это что такое? — негодует настоятель. — Где Паисий? Где начальник караула? Эй, солдат, взять этого!.. Прочь его!

— Отец настоятель, — словно бы сами произнесли губы Яши. — Дозвольте мне хотя бы прогулки. Не могу я больше. Я жизни все равно решусь!

— Прочь его, прочь! — слышится Яше в ответ яростный писк настоятеля; тот и ногами топает, и заходится весь в крике.

И тогда Яша размахнулся, и на всю огромную храмину разнесся треск от пощечины. Гулким эхом отозвались под каменными сводами вырвавшиеся у Яши слова:

— Это вам от Сермяги и от всех погибающих! Теперь я свободен!..

6

Наставник и воспитатель Александра III — сына казненного царя — Победоносцев, он же обер-прокурор Синода, пометил на донесении Мелетия, когда оно дошло из Соловков до Петербурга:

«Надо написать, чтоб держали его самым строгим образом в одиночной камере; прошу извещения, есть ли какие у него корреспонденции».

В июне того же года, когда на Соловках стояло лето, архимандрит Мелетий ответил на запрос из Синода:

«В вашем отношении от 10 июня его 1881 года за № 136, которое мною получено, сказано об арестанте Потапове, если есть у него какая-либо корреспонденция, то доставить вашему высокопревосходительству об этом сведения. На каковой вопрос почтительнейше вам отвечаю, что ему воспрещена всякая корреспонденция с начала помещения его в арестантском отделении, и потому ни он ни к кому не писал, и к нему не было писем ни от кого».

Об этой переписке были поставлены в известность шеф корпуса жандармов (им был уже не Дрентельн) и старый неизменный Кириллов, за время службы которого сменилось так много начальников III отделения. Да уже не было и самого III отделения; все, чем оно занималось вместе с корпусом жандармов, было передано в ведение нового департамента полиции при министерстве внутренних дел; сюда и перешел служить Кириллов и, казалось, еще сто лет ему жить и заниматься сыскными делами в государстве.

В столице все менялось, но не к лучшему, а к худшему. Тюрьмы были переполнены еще больше, чем прежде. И все равно Россия бунтовала с нарастающей силой.

Вечером в том же июне старый Кириллов встретил Анатолия Федоровича Кони на концерте в Летнем саду Дворянского собрания и сказал, весело щуря глаза:

— Видите, просвещенный вы наш метр и охранитель от всяческих нарушений порядка: тянется ниточка из давнего прошлого и никак не оборвется!

И Кириллов рассказал Анатолию Федоровичу о переписке обер-прокурора Синода с настоятелем Соловецкой обители по поводу Потапова.

— Помните? Это который флагом у собора года четыре назад размахивал. Совсем еще мальчишка был!

Кони в то время уже не состоял в должности судьи. Из-за оправдания Засулич, с чем был не согласен царь, Анатолию Федоровичу пришлось уйти в отставку; и графу Палену тоже не удалось удержаться на посту министра юстиции, он впал в немилость, как и Кони. Конечно, Анатолий Федорович помнил Потапова и все дело казанских демонстрантов; хорошо помнил он и то, как тогда просил графа Палена не раздувать это дело, а Потапова по несовершеннолетию определить в колонию малолетних правонарушителей под Петербургом.

— Разве не лучше было бы, если бы меня послушали? — сказал Кони Кириллову, когда они в антракте прохаживались по аллее Летнего сада. — Ведь совсем необязательно, я нахожу, применять грубую силу против тех, кто стремится к лучшему будущему России; вполне возможен другой путь.

— Знаете, — сказал Кириллов, — я сыщик и логикой общего развития не интересуюсь. Мое дело — тащить и не пущать. Но готов с вами согласиться в том единственном смысле, что народ наш дубинкой в конюшню не загонишь. У нас умеют, скажу я вам, бросать самого себя в пропасть.

— Да, это верно сказано, — заметил Кони.

— Вот видите? Могу и я сказать иногда что-то умное, — в шутку сказал Кириллов. — Я, батенька, больше скажу: этот Потапов, простой юнец низшего звания и без всякой образованности, являет нам собой пример, я бы сказал... эм... ах, черт возьми! Мелькнула было одна мысль, да вдруг пропала; как бесенок между ногами проскочил на молитве.

Кони подождал немного, давая возможность старой

полицейской ищейке выйти из затруднения, но, так и не дождавшись, пока сработает засоренная память Кириллова, проговорил:

— Позвольте, помогу. Вы хотели, возможно, сказать, что пример Потапова и присных иже с ним дает нашему обществу пример светлого трагизма самопожертвования во имя жизни!

— Ну нет! — запротестовал Кириллов. — Революционера вы из меня не делайте. — Он остановился вдруг посреди аллеи и захохотал. — Ну, Анатолий Федорович, с вами опасно дело иметь... Эка вы загнули! Я имел в виду совсем другое.

— Что же?

— Я хотел сказать, что будь Потапов не низкого происхождения, а Мелетий соловецкий не особа духовного звания, то за публичную пощечину один мог бы вызвать другого на дуэль.

— Там и была дуэль, — заметил с улыбкой Кони. — Только особого рода.

— А именно?

Кони не захотел продолжать беседу с Кирилловым, не имело смысла разбираться в высоких материях со старым полицейским служакой, и, уже было откланявшись, Анатолий Федорович еще на минутку-две задержался, чтобы спросить:

— А что намечается, известно ли вам? Я о Потапове. Судить его будут теперь снова?

Кириллов всегда знал все наперед и в этот вечер довольно точно предсказал, как поступят с соловецким узником после скандальной истории в храме. Царя-то нет, и раз не стало того, чья высочайшая воля определяла место заключения Потапова, то нет и надобности держать парня в монастырской обители. Теперь ему одна дорога — в Сибирь и скорее всего где-то у черта на рогах в Якутии. И навечно!

— А хотите, открою секрет? — сказал напоследок

Кириллов. — Могу признаться: мы тогда в нашем III отделении всячески покрывали, что он из рабочих. В угоду государю императору замалчивали это в следственных и судебных бумагах. Особое указание на сей счет даже давалось.

Кони пожал плечами, усмехнулся.

— Историю, что ли, вы таким способом собирались остановить? Тщетное это дело.

Потом, прогуливаясь один по аллее и часто раскланиваясь со встречными знакомыми, Анатолий Федорович старался представить себе, что же сейчас происходит там, в Соловках? Здесь музыка, огни китайских фонарей, шорох шелковых платьев и запах дорогих духов, оживленный говор и веселый смех, а там?

«Русской Бастилией» называли Соловки. Кони не бывал на этом угрюмом острове, но хорошо знал историю монастыря, знал и то, какие там перебывали государственные узники. Среди них были и довольно именитые люди.

И, вспоминая разговор с Кирилловым, Кони думал:

«А хорошо сказал старик. Наши люди, когда доходит до крайности и не вмогуту уже, — умеют бросать себя в пропасть. Вот и Потапов так поступил. И жаль его, конечно... Может, из него вышел бы Ломоносов или Дарвин...»

Утешала Кони мысль, что Русь, просветленную, выпрямляющуюся после отмены крепостного права, обратно в ярмо уже не загонишь! Это несомненно!

А Кириллов пережил в тот же вечер горькую минуту, и причиной была новость, о которой он узнал, когда по обыкновению после гуляния в саду заглянул в канцелярию своего департамента.

В святейший Синод в этот вечер пришла из Соловков весть, что Потапов пытался бежать с острова...

Узнал об этом на другой день и Кони и удивился несказанно:

— Что за недюжинная натура у этого Потапова! Не будь наши верхи в вечном паническом страхе перед новой жизнью, его следовало бы причислить к лику героев.

7

Да, Яша пытался бежать. И как? В одном белье. И уже почти вконец обессиленный голодом.

С того дня, когда он нанес пощечину настоятелю, в камеру приносили только хлеб и воду. Одежду отобрали, книг лишили, и возле камеры день и ночь стоял особо приставленный караульный. Не тот чахоточный солдат со шрамом, того наказали, а тупорылый стражник в шинели, готовый заколоть Яшу штыком «в случае чего».

Так и было настрого велено этому стражнику, и он целые сутки стоял на часах у двери при винтовке с прикинутым штыком. В паре с ним стерег опасного узника еще один здоровенный солдат, тоже готовый «в случае чего» действовать по уставу. Ни единого слова, кроме брани, не слышал от них узник, да ему и не хотелось с ними разговаривать.

Он решил не ждать суда. Ему сказали: судить будут в Архангельске. Дело заведено и по приказу из Петербурга, из самого министерства юстиции и святейшего Синода, оно идет ускоренным порядком. Обвинять будут Яшу в «совершении над архимандритом насилия». Мелетий жаждал жестокого приговора для «насильника».

А Паисий больше не показывался в камере Яши, и хорошо делал; Яша отвернулся бы от него; да и что было объясняться с иеромонахом? Оправдываться? Сказать, что пощечина была дана не архимандриту Мелетию, а... кому?

Яша думал об этом уже в тот день, когда пришел в себя. Хотелось самому себе отдать отчет: что же про-



изошло? Какая сила заставила его поднять руку на тщеславного старика с бабьим голосом и свирепым лицом Трепова?

Позже — тогда еще он не смог этого понять — придет осознание поступка: это была пощечина не человеку, хотя тот и заслуживал, а звериной образине самодержавия, душителя свободы и виновника безвинной гибели многих. А тогда Яша приходил к выводу, что Мелетий заслужил пощечину хотя бы потому, что самовольно, в угоду царской власти, держал Яшу в одиночке. Не на тюремное содержание, а на поселение был прислан Яша в Соловки, в эту обитель-крепость, так почему же Мелетий совсем лишил Яшу всего, даже прогулок?

Пощечина принесла и самому Яше потрясение; он переживал случившееся в храме, пожалуй, сильнее, чем Мелетий, и долго еще казалось Яше, что ладонь у него горит от удара.

Теперь оставалось одно: поскорее выбраться отсюда, бежать, чего бы это ни стоило! Яростно хотелось жить, дышать вольным воздухом, ходить где хочешь, видеть людей, читать книги и... снова с удесятеренной силой взяться за то дело, от которого его так надолго оторвали! За великое дело любви он будет стоять, как стоял до сих пор; и подобно тому как до сего времени не страшился страданий, не боялся ничего, так ни перед чем не остановится и в будущем. О многом передумал Яша за эти дни и отдавал себе отчет: другой путь ему заказан! Такой уж он есть, Яков Потапов. Верно говорила Юлия: самое страшное — измена себе, своим убеждениям, она-то и ведет в трясину. Теперь он куда яснее понимал, что значит быть сильнее своего времени и чего это стоит.

Бежать Яша решил в ночь под воскресенье. Был праздник, и не затихал вселенский перезвон колоколов всех церквей острова. Июнь стоял не теплый, но Яша не

посчитался с тем, что на нем нет ни штанов, ни кафтана; как-нибудь обойдется одной рубахой, авось не замерзнет в пути. Только бы добраться до берега, до какой-нибудь лодочки. Одинокое плавание по морю не пугало его.

В девятом часу вечера, когда в монастырском соборе шло «всенощное бдение» и монахи во главе с Мелетием находились там, Яша начал орудовать у окна ножкой от табуретки. Звон колоколов заглушал стук. И откуда у Яши хватило силы — непонятно, но он сумел разогнуть прутья решетки.

— Ага! Поддается, гадюка! Ну еще!

Он бормотал в помощь себе подобные слова, даже сам не слыша их из-за колокольного перезвона. Вот уже решетка поддавалась настолько, что можно вылезть из окна.

— Так... Теперь — полотенца...

Готовясь к побегу, Яша сумел припрятать три полотенца. Теперь онигодились. Он разорвал их по длине, туго связал узлами, закрепил к решетке и по ним, как по канату, спустился во двор монастыря. Спрыгнул, оглянулся... Никого! Бегом к воротам! Час поздний, открыты ли они?

Из-за праздника ворота не заперты, и, никем не замеченный, Яша проскальзывает по ту сторону монастырских стен. Ударил в лицо свежий морской воздух, и сразу стало легче дышать, будто здесь, на каменистой дороге, ведущей к островной пристани, уже другой мир и все другое, даже сам воздух, и небо, и земная твердь.

Он бежал по дороге, спотыкаясь, и все же не падал; казалось, он летел на невидимых крыльях; и уже издали видел на причалах много народу. Только что, вероятно, подвалил к пристани запоздалый пароход из Архангельска с новой партией богомольцев; ну Яше до этого дела нет, пусть их поклоняются тому, что на самом-то деле вовсе не свято, но люди по сути своей доб-

ры, потому что обездолены и несчастны, и оттого-то ищут в вере облегчение. Ох, сколько мог бы Яша Потапов им рассказать, как открылись бы у них глаза, если бы они все знали!

И вспыхивает у Яши, пока он бежит, новая мысль, и он на ходу загорается ею: на воле он будет всем раскрывать глаза на то, что творится за монастырскими стенами и прикрывается именем господа бога. Он будет рассказывать людям обо всем, что с ним произошло с начала казанской демонстрации; пусть узнают, что такое «государев пленник» и как поступают с такими царские и монастырские власти. Он скажет людям:

— А ведь и вы все, родные вы мои и несчастные, тоже государственные пленники, только сами не сознаете-то еще этого, а пора бы осознать!..

Вот с такой мыслью бежал Яша к людям, бежал с возвышенной целью и добрым сердцем, бежал, неся, задыхаясь, но не чувствуя ног.

А встречавшие пароход монахи и уже двинувшиеся к воротам обители богомольцы с недоумением смотрели на бегущего к берегу человека в длинной исподней холщовой рубаше, донельзя застиранной в монастырской портомойке. На голове шапки нет, светлые волосы треплются по ветру, ноги босы.

Берег. На краю пристани качаются на волне лодки, они на цепи, и железо лязгает, крепко держит суденышки на приколе.

— Ты чего? Чего? Чего?— кричат Яше и бегут к нему люди.— Зачем цепь-то рвешь? Кто таков?

Яша уже в лодке и готов схватиться за весла, а цепь никак оторвать не может—выдохся он весь, пока бежал, и от всех усилий, и от волнения, и от мыслей, которые родились на бегу.

Уже целая толпа возле Яши, а он, обессиленный, но со счастливой улыбкой, сидит на корме рыбацкой лодчонки и ничего не может сделать, не оторвешься от бе-

рега, цепь крепка; и, веря в помощь людей, Яша отвечает им:

— В Кемь я... Туда!— и показывает взмахом ослабевшей руки куда-то в глубь моря.— Мне на волю надо... Я арестант...

— Ты что же надумал? Бежать?

— Бежать. Точно,— кивает Яша в ответ на сыплющиеся с берега вопросы.— В заточении меня тут держали... уже, почитай, два года. И безо всякой вины...

— Ну без вины не бывает, парень. Все врешь ты! А ну вылазь из лодки! Ишь какой!

А Яша действительно намеревался до Кеми добратся, до этого глухого уездного городка ближе, чем до Архангельска, где сам губернатор сидит. И Яша, не в состоянии понять, как могут люди не верить, все твердил:

— Ей-богу, в Кемь я... Вот Христом-богом клянусь! Куда мне хотеть-то? В Кеми я как-нибудь устроюсь...

В этот вечер Яша снова испытал на себе ту косную страшную силу, которая делает иногда толпу соединением хотя бы и хороших людей, но проявляются в них не лучшие, а худшие черты. Случайное, дикое, наносное обращает их ярость против своего же человека. Так было и на Казанской площади, когда обывательская публика бросилась с Невского проспекта к собору помогать городовым и жандармам избивать демонстрантов. Так получилось и в этот раз.

Яшу выволокли силой из лодки и повели обратно к монастырским воротам. А солдаты-стражники острога уже искали его, бегали по двору, суетились, что-то кричал низенький усатый унтер-офицер с башни. Увидев, что ведут Яшу, он сбежал во двор и в упор приставил к груди беглеца стальной штык винтовки.

— Сейчас заколю!

Измученный Яша ответил:

— Коли, будет лучше...

И снова он очутился в остроге, но не в прежней ка-

мере, а в более надежной, где решетка и дверь были потолще и покрепче. И по приказу Мелетия еще заковали Яшу в ножные кандалы.

А на другой день утром к Яше заглянул Паисий. Именно заглянул, всего одну-две минуты побыл в камере. Казалось, просто зашел поглядеть в последний раз на человека, которого так и не удалось уговорить повести себя по-умному, то есть закрывать на все глаза.

Все та же исподняя рубаха была на Яше, ноги кровавили, и он вытирал рукавом рубахи кровь у того места, где ноги были закованы тяжелой цепью. Оглянувшись на стук двери и увидев Паисия, Яша отвернулся и не произнес ни слова.

А Паисий сказал:

— И все-таки страх господень, только он начало премудрости. И ты еще это, даст бог, поймешь.

8

Потом, вскоре же, был суд.

Вел дело следователь Кемского уезда Плещеев, он сам приезжал в Соловки допрашивать обвиняемого узника Потапова, как было дело. А Яша и не отрицал ничего. Да, пощечину Мелетию давал, да, бежать пытался. Чего еще надо вам знать, господа? Следователь был неглупый человек, даже сердобольный, и не без некоторого сочувствия поглядывал на Яшу.

«Обвиняемый узник»... Самому следователю дело казалось необычным, такого он еще не вел.

А из Петербурга шли и шли бумаги с предписанием строжайше судить Потапова. Писал министр юстиции Набоков (пришел на смену графу Палену), писал товарищ министра внутренних дел, писал губернский прокурор, писал святейший Синод. И наконец, в осенний сентябрьский день Архангельская судебная палата определила: загнать Якова Потапова на всю жизнь в «отда-

леннейшие места» Сибири с лишением всех прав состояния и преданием церковному покаянию по месту ссылки.

В январе следующего года правительствующий Сенат утвердил приговор, и тогда товарищ министра внутренних дел Иван Николаевич Дурново, такой же, как и Победоносцев, махровый реакционер, написал генерал-губернатору Восточной Сибири, что Потапова следует поселить в самый глухой угол Якутии.

Так исполнилось предсказание старого полицейского служаки — провидца и прорицателя Кириллова. Исполнилась и воля Мелетия, и не без мстительной радости он сообщил в мае того же года в Петербург обер-прокурору Синода Победоносцеву:

«Кемское уездное полицейское управление от 13 сего мая за № 3313 вследствие предписания Архангельского губернаторского правления от 10 минувшего марта за № 1978 уведомило учрежденный собор монастыря, что содержащийся в монастырском остроге арестант, крестьянин Яков Семенов Потапов, по решению Архангельской палаты уголовного и гражданского суда, утвержденным правительствующим Сенатом, приговорен к лишению всех прав состояния и к ссылке в Сибирь на поселение в отдаленнейшие места, по обвинению в нанесении удара по голове настоятелю архимандриту Мелетию. Согласно требования Кемского полицейского управления упомянутый арестант Потапов закован в ножные кандалы и наручники и передан под присмотр присланным из Кемского полицейского управления двум тамошним полицейским служителям, Титову и Богданову, для доставления в Кемское полицейское управление, что сего числа и исполнено».

Исполнилось намерение Яши, когда он готовился к побегу из монастыря,— он попал в Кемь, в тот уездный городок, куда стремился, но... уже в кандалах. Под звон этих кандалов он и дошел по этапу до Якутии...



Глава восьмая НЕГАСИМЫЙ СВЕТ

1

Теплый июльский день, но дождь льет и льет, мелкий, надоедливый; в городе лето, но ведь это Якутск; в природе и в мире творится что-то невообразимое, но ведь вся старая жизнь перевернулась — нет Сената, нет Синода, нет царя и нет его министров. Небывалое, но то, за что люди боролись и страдали и чего ждали, свершилось.

В Россию, в огромную бывшую империю, пришла революция, и с октября прошлого года новая, большевистская власть ведет отчаянную борьбу с врагами революции, и сейчас повсеместно кипит гражданская война.

А здесь, в Якутске, всего лишь третий день реют алые знамена; из Иркутска пробился с боем отряд Красной гвардии и прогнал белых, стоящих за Колчака.

На митинге, в день прихода из Иркутска красногвардейского отряда, ораторы говорили с трибуны о героическом рабочем классе России, о том, какой тяжелый путь борьбы с царизмом прошла большевистская партия, сколько лучших борцов партии и народа пали жертвами в этой борьбе. Говорили о союзе пролетариата с

крестьянством, о раскрепощении всех угнетенных народов бывшей империи и о светлом будущем.

Потапов этого сам не слышал, плохо ему было в день митинга, но вчера смог прочесть об этом в газете. И, читая, думал:

«Пришла пора, значит... А ведь как ее... муза Клио — это давно пророчила... Исполнилось-таки».

Сегодня Яков Семенович чувствует себя получше и хотел бы выйти на улицу, но врачи не разрешают. Остается одно: сидеть у окна палаты с книгой (с книгами он по-прежнему не расстаётся) и смотреть на вымокшую бурую улицу, на висящий через дорогу красный флаг и торопливо пробегающих прохожих. День пасмурный, но тепло, и воздух будто весь пронизан солнечным светом, даже непонятно, откуда он берется, — низко нависшее небо заволочено сероватой мглой, и дождик все сеется, но стекающие с крыш капельки поблескивают серебристыми искорками, и кажется, весело им шлепаться в лужи... Во всяком случае, именно так кажется Якову Семеновичу, легко у него сегодня на душе и грустно отчего-то.

В палату быстрым шагом входит молоденькая больничная сестра в белой косынке.

— О, какой вы сегодня бодренький, — говорит она Потапову. — Хотите чаю? Я принесу. Заварю покрепче, как вы любите. Чай есть...

Из красногвардейского отряда, освободившего город, прислали в больницу подарок — белой муки мешок, несколько пачек настоящего чаю и целых две головки сахару. Прислали из своего пайка и мясных консервов. Обед был праздничный, в палатах стоял веселый гомон.

Яков оборачивается к сестре. Он долго смотрит на нее: она якутка, у нее широкое скуластое лицо и отливающие черным лаком блестящие глаза.

— Чаю, ты сказала? Потом, потом, дочка, не сейчас.

Хотя постой! Горячей воды, пожалуйста, принеси. Я побрился бы.

Сестра строго машет пальчиком.

— На улицу хотите? Вам нельзя!..

— Нету же у меня температуры-то.

— Все равно. Нельзя, это вы понимаете?

Молодая якутка неплохо говорит по-русски, мечтает стать фельдшерницей и уехать лечить больных в свой далекий поселок — это как раз то место, где отбывал долго ссылку Яков. Она знает об этом и относится к нему с особой почтительностью.

Слово «нельзя» у нее звучит «нЫльзя».

Потапов улыбается, отвечая:

— Э, дочка, это слово я даже слишком хорошо понимаю. Ты все ж таки принеси мне водички.

И подмигивает ей в знак того, что и настроение его и самочувствие не должно вызывать у нее сомнений. Поколебавшись еще, сестра приносит воду, и Потапов берется за бритву. Давно пора ему привести себя в порядок. При белых он не брился; только раз, в прошлом году, когда свергли самодержавие, соскреб бороду. И вот снова отросла, такая светлая, шелковистая.

2

Пока он бреется, сестра сидит рядышком и рассказывает о новостях, которые до нее дошли из родного поселка от приезжих родичей. И чтоб эти новости были понятны, надо тут кое-что пояснить.

Почти два года тащили Яшу этапом из Соловков до Якутска. А когда он прибыл наконец сюда, генерал-губернатор Восточной Сибири распорядился отправить опасного крамольника в Вилуйский округ и поселить, как говорилось в бумаге, «не ближе 50 верст от школы и по возможности около церкви, так как он должен быть подвергнут церковному покаянию». И скоро Яша очутил-



ся в глухой местности Кобяй, вблизи Иннокентьевской церкви.

О, как бедствовал Яша все прошедшие годы!.. Чтобы добывать себе пропитание, мял кожи, сапожничал, пилил дрова, пас скот местных богачей и вечно воевал с ними. Оттого им были недовольны, и исправник писал в своих донесениях в Якутск о «дерзком характере» Потапова, и местный священник тоже жаловался на то, что Потапов не исполняет наложенного на него церковного покаяния, не бывает у исповеди и причастия и даже позволяет себе издеваться над «словами божьими».

Читал Яков много, вот что облегчало ему жизнь и помогало переносить трудности. Хорошо, если съест за целый день похлебку из кислого молока, но если удалось у кого-то добыть новую книгу, он и доволен.

Теперь он знал: здесь, в якутских наслеггах, были в ссылке декабристы; здесь больше десяти лет отбывал ссылку Чернышевский. Яков уже не застал его, но много о нем слышал и книгу «Что делать?» прочел, а ведь это была давняя мечта Якова.

За годы, пока он томился в кобяйских местах, в разных глухих углах Якутии перебывали в ссылке Короленко, Петр Алексеев, Бабушкин, Серго Орджоникидзе, Ярославский, Урицкий. В революцию шли лучшие люди России, и царизм так же жестоко расправлялся с ними, как расправился с Потаповым. Общаться с революционерами, находившимися тут, в ссылке, Якову не разрешали, власти строго следили за ним, не давали отлучаться от места приписки. Но есть свидетельства, что кое с кем из политических ссыльных он все же встречался. Известный в свое время революционер-большевик Юрий Михайлович Стеклов написал в своих воспоминаниях о впечатлении, какое производил на него Потапов в те годы. У него, отмечает Ю. М. Стеклов, было «очень одухотворенное лицо интеллигентного питерского пролетария»...

Только в июле 1897 года Потапову был разрешен выезд в Европейскую Россию, но он уже тяжело болел... И, добравшись до Якутска, тут и остался жить.

3

Новости из Кобяйского поселка были, по словам Матты, неплохие: там тоже идет борьба за Советскую власть.

— Ну и хорошо,— говорит Яков и ободряюще добавляет: — Ничего, милая, скоро и туда придет наша Красная гвардия, и жизнь станет светлой и радостной!..

Когда Яков Семенович кончает с бритьем и в последний раз заглядывает в обломок зеркала, который сохраняется у него еще с первого года ссылки, то самого себя не может узнать — еще моложавый человек, только лицо кое-где в морщинах и глаза мутноваты, нет той яркой голубизны, какой они светились прежде. Да и чему удивляться-то, чего еще желать? Не шестнадцать ему ведь, а под шестьдесят.

— А вы совсем еще красивый! — всплескивает руками сестра.

Никогда Якову этого никто не говорил, и лицо его расплывается в улыбке, он молодецкато прихорашивается, волосы откидывает назад, обнажая большой лоб со впадинами у висков.

— Ну, сейчас я совсем еще как Сермяга,— говорит он и вертит перед собой зеркальный осколок. — Сермяга...

— А это кто? — спрашивает сестра.

— Сермяга — это человек, милая, которому старались всю жизнь внушить, что начало премудрости — страх господень. А на самом деле это нечто совсем другое.

— А что?

— Ты подумай,— советует девушке Яков. — А я сей-

час потихоньку выйду на воздух и подышу, хорошо? Только ты никому не говори, и за это я буду учить тебя грамоте, хочешь?

Молодая якутка колеблется, потом сама помогает Якову натянуть на тощие его плечи брезентовый плащ.

На улице еще не утих дождь. Яков Семенович усаживается на ступеньку крыльца под навесом и долго не сводит глаз с висящего напротив над воротами красного флага. И вспоминает тот давний день, когда он поднял такой же флаг. Негасимый отсвет того времени и сейчас на флаге, что напротив. В воздухе сыро, но до чего же хорошо дышать, когда в тебя вливается воздух свободы...

Вдруг он слышит сзади быстрые шаги молодой якутки. Она нежно трогает Якова за плечо и умоляюще просит:

— Довольно вам... Идемте! Я уже подумала... И поняла: настоящая премудрость — в такой жизни, как ваша! Вы геройский человек, все науки прошли и многое повидали в своей большой жизни.

— Ой ли? — смеется Яков Семенович. — Геройский человек — это знаешь кто? Это богатырь, а я видишь какой?

Матта тоже заливается смехом, ее больной шутит, он в хорошем настроении, он сегодня весел, и она довольна. Для нее этот милый и такой добрый к ней человек действительно герой, для нее святы имена тех, кто, не щадя жизни своей, боролся за свободу народа, за его прекрасное будущее. И когда он уселся с Маттой у окна и стал читать ей стихи Некрасова, вся палата притихла, и не одной только юной якутке в эти минуты подумалось:

«Без отважных героев, без тех, кто первым начинает борьбу за доброе, вечное, истинно великое, не обой-

тись, они тот камушек, который увлекает за собой лавину! Они первый проблеск молнии, возвещающий о приближении мощной очистительной грозы».

Еще несколько слов в заключение нашей повести.

К сожалению, немного дошло до нас из событий мужественной жизни Потапова, и пришлось по крупицам собирать сохранившиеся о нем сведения. Известно, что умер он в 1919 году и похоронен в Якутске.

Для него было великим счастьем увидеть победное сияние алых знамен Октября.

«Герои не умирают», — сказано в одной статье Алексея Толстого.

Это же можно сказать и о Потапове. Он и сегодня с нами, славный сын революционной России.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая. Открытие Яши Потапова	5
Глава вторая. Такого еще никто не видел	20
Глава третья. Карающий меч	35
Глава четвертая. Сермяга все бунтует	66
Глава пятая. Опасный постоялец	78
Глава шестая. Крайсветный остров	112
Глава седьмая. Пощечина	141
Глава восьмая. Негасимый свет	168

ИБ № 671

Фазин З. И.

ЗА ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ЛЮБВИ

Редактор Людмила Лузянина

Художник Вячеслав Те

Художественный редактор Александр Гладышев

Технический редактор Татьяна Кулагина

Корректоры Нина Павлова, Галина Василёва

Сдано в набор 13/I 1977 г. Подписано к печати 26/IV 1977 г.
А06414. Формат 70×108^{1/32}. Бумага № 1. Печ. л. 5,5
(усл. 7,7). Уч.-изд. л. 7,7. Тираж 200 000 экз. Цена 35 коп.
Т. П. 1977 г., № 99. Заказ 2392.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типогра-
фии: 103030, Москва, К-30, Суцевская, 21.

5
20
35
66
78
112
141
168

77 г.
5,5
коп.

ства
гра-

35 коп.



**53
ВЫПУСК**

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ii

STHOB
IIOTATOB

iii